

БРОДЯЩІЯ СИЛЫ.

О $\frac{4.}{131.}$

ДВѢ ПОВѢСТИ

В. П. АВЕНАРИУСА.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ПОВѢТРИЕ.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВѢСТЬ.



BERLIN.

B. BEHR'S BUCHHANDLUNG. (E. BOCK.)

27. UNTER DEN LINDEN.

1874.

Василий Петрович Авенариус

Поветрие (Бродящие силы #2)

Авенариус, Василий Петрович, беллетрист и детский писатель. Родился в 1839 году. Окончил курс в Петербургском университете. Был старшим чиновником по учреждениям императрицы Марии.

Содержание

I	0006
II	0017
III	0036
IV	0044
V	0057
VI	0075
VII	0083
VIII	0091
IX	0109
X	0130
XI	0138
XII	0146
XIII	0157
XIV	0166
XV	0174
XVI	0189
XVII	0199
XVIII	0214
XIX	0220
XX	0232
XXI	0241
XXII	0251
XXIII	0261
XXIV	0274
XXV	0283

**В. П. Авенариус
Бродящие силы
Часть II
Поветрие
(Петербургская повесть)**

*Царица грозная чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой
А.Пушкин*

*Она была насмешлива, горда,
А гордость — добродетель, господа.
И. Тургенев*

Из книжного магазина Исакова в гостином дворе выходила, в сопровождении лакея в ливрее, молоденькая, статная барышня в щегольской шапочке с белым барашковым околышком и в шубке, опушенной тем же белым барашком. Ничем не связанные пышные кольца остриженных по плечи каштановых волос вольно раскачивались вокруг хорошенькой ее головки, лучшую часть которой — выразительные, темно-синие глаза — скрывали, к сожалению, синего же цвета очки. Небольшой пухленький ротик был сжат с выражением того прелестного самосознания, которое свойственно одним очень молодым девицам, опасаящимся, чтобы их ошибкою не приняли за маленьких. Но шаловливая, детская улыбка подстерегала, казалось, из-за уголков губ, в ямочках щек, первого случая, чтобы светлым сиянием разлиться по художествен-

но-правильному личику девушки.

На улице стояла январская оттепель. С пасмурного неба сыпался, крутясь большими, мокрыми хлопьями, снег, который, едва достигнув земли, тут же таял. Нахмутив при виде снега бровки, барышня плотнее сунула себе под мышку сверток журналов, взятых из магазина (хотя с нею и был слуга, она несла сверток сама) и, повернув направо, она пошла быстрыми шагами под прикрытием гостинодворского навеса, не удостоивая внимания ни продавцов канцелярских принадлежностей, грошовых косметик и запонок, ни разносчиков апельсинов нового привоза, приютившихся под тем же гостеприимным навесом и наперерыв зазывавших к себе проходящих.

Высокий, молодой мужчина с умным, бледным лицом, обрамленным белокурыми бакенбардами, в цилиндре и в шинели с немецким бобром, приценивался у одного из апельсинщиков к его душистому товару. Разносчик, разбитной малый, преклонив колени перед своим лотком, заманчиво вертел и подбрасывал в пальцах приподнятой руки круп-

ный, сочный королек. Голос покупателя коснулся слуха проходившей барышни; она вскинула взоры и невольно у нее сорвалось:

— М-г Ластов!

Тот быстро оглянулся.

— Наденька!

Потом, спохватившись, поправился с улыбкой:

— Надежда Николаевна...

— А я была уверена, Лев Ильич, что вы давным-давно у праотцев, — заговорила не то насмешливым, не то радушным тоном Наденька.

— Из чего это вы заключили?

— Да как же, более полугода глаз не кажете. Были как-то на помолвке кузины Монички, потом на свадьбе сестры Лизы, а там — как в землю провалились. Кому-то теперь выходить замуж, чтобы удостоиться улицезреть вас у себя?

— Должно быть — ваша очередь.

— Нет, уж дудочки!

Разговаривая таким образом, молодые люди незаметно отошли на несколько шагов от разносчика. Тот испугался, что совсем упу-

стит покупателя.

— Барин, а барин! Дайте уж шесть гривен?
Ластов на ходу обернулся:

— Сорок копеек.

— Помилуйте! Себе дороже. Прибавьте что ли пяточек? Ну, да уж пожалуйста, пожалуйста!

— Ступайте, — сказала Наденька, — я подожду. Вскоре молодой человек вернулся к ней с туго набитым бумажным мешком.

— Я угостил бы вас, Надежда Николаевна, если бы...

— Погода стояла потеплее? Ничего не значит, контрасты-то и хороши: на хладном севере упиваться плодами знойного юга! Угостите.

Ластов с готовностью развернул мешок, и девушка, взяв один апельсин, принялась со смехом очищать его. Этим временем они дошли до угла Садовой.

— Здесь нам в разные стороны, — сказал Ластов.

— А вы в каких краях раскинули шалаш свой?

— В Коломне.

— Гм... Так я вас провожу до конца гости-

ного, — решила Наденька и повернула по зеркальной линии. — Мне хочется потолковать с вами. Вы, Лев Ильич, знаете, конечно, что я уже студентка?

— Вы студентка?

— Да, медико-хирургической академии. Весною, как вам известно, я окончила гимназию; осенью, по совету медицинского студента Чекмарева, которого вы, вероятно, видели у нас, поступила в академию. За эти полгода, я думаю, вы меня просто не узнаете!

— Да, вы изменились...

— Возмужала, что?

— Н-да. С какой стати, скажите, вы в очках?

— Как с какой стати? Зачем люди носят очки? Вероятно, оттого, что близоруки.

— А вы очень близоруки?

— Нет, не могу сказать.

— Так советую вам не носить их.

— Отчего же? Мужчины ведь носят?

— Мужчины. Мы носим и короткие волосы: при наших угловатых чертах они нам к лицу. Вам же, женщинам, при округлых, мягких формах вашего тела необходимы и вол-

нистые косы.

— Вы ужасно ядовиты! Не в бровь, а в глаз. Так очки потому более идут вам, что ваши черты угловаты.

— Нет, вообще говоря, они обезображивают как женщин, так и мужчин, но лицо мужчины не имеет претензий на красоту; оно должно выражать ум, силу, почему очки и сообщают ему только выражение более серьезное, сосредоточенное. В лице же женщины правильность черт, миловидность их, нежность кожи, словом, красота — главное.

— Вот как! Но я не гонюсь за красотой.

— Напрасно. Все, что красиво, — хорошо.

— Софизм! Все, что полезно, — хорошо.

— А! Так и вы затянули эту песенку?

— Затянула. Но сами скажите, Лев Ильич: чем же мы, бедные женщины, виноваты, что имеем другие формы тела? Разве мы оттого менее люди, не можем уже пользоваться всем тем, чем пользуется ваша братия? Помните, что говорит Лопухову Вера Павловна: «Что ж из того, что у тебя баритон, а у меня контральто? Стоит ли толковать из-за таких пу-стяков?» Была бы только от очков реальная

польза, а красиво ли, нет ли носить их — дело второе.

— Что ж, — возразил Ластов, — и в ношении очков есть своего рода реальная польза: первое, не тратятся деньги на приобретение их; второе, если вы, как женщина, станете нянчиться с ребятишками, эти при первом случае сорвут их у вас с носа.

— Ну, покудова у меня нет еще ребятишек, да даст Бог, так скоро и не будет. Я хочу остаться свободной, чтобы собрать по возможности более научных сведений.

— Так вы положительно решились посвятить себя медицине?

— А вы думали, отрицательно, «пурселепелтан»? Посмотрели бы вы на наши студенческие сходки, убедились бы, как серьезно мы предались своему делу.

— А! Так и вы участвуете в сходках?

— Что же в этом удивительного?

— И ездите туда одни?

— Одна, но на своих лошадях, в угоду родителям, которые не желают, чтобы я выходила одна из дому. И теперь, как видите, за мной неизменный телохранитель. Но вы можете

себе представить, как мне это неприятно: оскорбляется чувство человеческого достоинства.

— Что же вы делаете на сходках? — спросил Ластов. — Любопытно бы, право, побывать на одной из них.

— Зачем же дело стало? Побывайте. Вот хоть бы сегодня... Вы вечером свободны?

— Свободен.

— Так приезжайте без церемоний. Мы собираемся нынче у Чекмарева. Живет он на Выборгской, по такой-то улице, дом такого-то.

— Но, может, я стесню?

— О, нет, я предупрежу. Может статься, удастся таким образом втянуть вас опять понемногу в наше общество. Послушайте, Лев Ильич, признайтесь: зачем вы корчите из себя такого заморского зверя, показываетесь в людях чуть ли не за деньги?

— Во-первых, Надежда Николаевна, я серьезно занят своей магистерской диссертацией...

— Ну, это не отговорка. Не с утра же до ночи корпеть вам над диссертацией. Во-вторых?

— Во-вторых — я боюсь вас.

— Что, что такое? — засмеялась студентка. — Чем же я так настращала вас?

— Это тайна.

— Нет уж, договаривайте. Знаете поговорку: что замахнулся — что ударил?

— Видите ли... Я расскажу вам притчу:

Es klingt so suss, es klingt so trub![1]

Начинается она, как всегда, тем, что

Ein Jiingling liebte ein Madchen.[2]

Но Madchen привыкла в родительском доме к роскоши и к холе, а в кармане Tiingling'a ветры гуляли. Со временем же он надеялся сдать экзамен на магистра, на доктора и приобрести профессорскую кафедру. Вот и дал он себе зарок избегать Madchen, куда не обеспечит своего существования.

— Какой же он чудак, ваш Jiingling, — говорила не подымая глаз, Наденька. — Как будто нельзя видеться и до брака?

— То-то, что нет. Он убедился, что, бывая слишком часто в ее очаровательном обществе, пожалуй, не устоит: пораньше времени предложит ей руку и ногу.

— А кто ж сказал вам, что она примет их? — рассмеялась, краснея, студентка.

— Никто не говорил. Но ведь может же статья? На грех мастера нет.

— Вы, Лев Ильич, уже чересчур заняты собою. Любить меня я, разумеется, никому не могу запретить, любите, если хотите, это уж ваше дело. Что же до меня, то я видела, вижу и буду видеть в вас не более, как образованного молодого человека, с которым не к чему прерывать знакомство из-за мании его влюбляться в первую встречную. Надеюсь, что после этого объяснения вы не станете избегать наш дом и будете заходить к нам хоть раз в месяц.

— Да, так мы не будем стеснять друг друга?

— Еще бы стеснять! Вы-то, по крайней мере, сделайте милость, не стесняйтесь: приглядится вам другая «дева чудная», не задумываясь, привязывайтесь к ней узами церкви. Меня позовите только на свадьбу: хотелось бы знать ваш вкус.

— Вам, Надежда Николаевна, он должен бы быть ближе, чем кому другому, известен?

Девушка принужденно расхохоталась.

— Какие откровенности! Да вот мы и у места, до которого я обещалась проводить вас. Так, значит, до вечера у Чекмарева?

— Значит.

— А что ж вы не снабдите меня на дорогу провиантом?

— Сделайте ваше одолжение.

Запасшись из поданного ей мешка апельсином, она насмешливо кивнула молодому человеку на прощанье головою и повернула обратно к Невскому.

Тра-ла-ла, барышни, тра-ла-ла-ла!
В. Курочкин

В девятом часу вечера того же дня Ластов поднимался по шаткой деревянной лестнице, освещаемой печально мигающим из амбразуры верхушечного окошка огарком, во второй этаж деревянного же дома на Выборгской стороне. Взойдя на площадку, он остановился в нерешимости: перед ним было несколько дверей. Но за одной из них слышался явственно оживленный юношеский смех и многоголосный говор.

Ластов постучался.

Когда и на вторичный стук не последовало приглашения войти, он пожал ручку двери и ступил в комнату.

Навстречу ему затрепетал тусклый свет полдюжины пальмовых свечей, вставленных в пивные бутылки. Блеск пламени умерялся еще табачным дымом, ходившим густыми клубами по комнате. Вкруг ряда сдвинутых, разного калибра и разной шерсти, столов вос-

седало и возлежало, в самых непринужденных положениях человек 25–30 молодежи, избравших себе сидениями, за малочисленностью стульев, кто кровать, кто какой-то сундук, кто деревянный кухонный табурет. Некоторые из молодых людей были в форменной одежде студентов медико-хирургической академии, конечно, нараспашку, другие в визитках и пиджаках, третьи, наконец, находившие, по-видимому, температуру горницы чрезмерно высокою, сидели в одних рукавах. В общем ряду студентов Ластов различил и двух-трех девиц, в том числе Наденьку.

— *Quis ibi est* [3]? — обернулся к вошедшему сидевший спиною к двери хозяин комнаты, Чекмарев, студент с худощавым, угреватым лицом. — Вы? — изумился он, узнав Ластова. — Откуда вас нелегкая занесла?

— Интересовался вашей сходкой...

— Что такое? Я, по крайней мере, сколько помнится, не приглашал вас, а есть пословица: непрошенный гость хуже татарина.

Тут привстала Наденька.

— Это я пригласила его. Рекомендую, господа: Лев Ильич Ластов, кандидат здешнего

университета и учитель гимназии, которого вы скоро, вероятно, увидите на университетской кафедре.

— И который считает ниже своего достоинства брать менее трех рублей за урок! — колко заметила другая из присутствовавших барышень.

Учитель смерил ее удивленным взором. Девушка эта была далеко не красива. Орлиный, крупный нос придавал лицу ее выражение хищности. Выдающиеся скулы и рот, как говорится, до ушей также нимало не способствовали к смягчению этого выражения. Зато бесцветные, водянистые глаза разуверяли наблюдателя в первом впечатлении: они были слишком апатичны для хищного существа. Бледный, вялый цвет кожи изобличал недоспаные очи. Ко всему этому, девица, как бы сама сознавая свою непривлекательность, явно пренебрегала нарядом и прической, которая прикрывала до половины и без того невысокий лоб ее.

— Не имею удовольствия знать? — промолвил Ластов.

— Фамилия моя Бреднева.

— А! Вы сестра ученика моего, Алексея Бреднева?

— Сестра.

— Так не вы ли та самая девушка, про которую он говорил мне?..

— Та самая девушка, про которую он вам говорил.

— Что ж он, чудак, не объявил мне этого тогда же?

— В чем дело? — вмешалась, заинтересовавшись, Наденька. — Пожалуйста, без секретов.

— Дело очень просто в том, — объяснила Бреднева, — что я через брата своего просила г-на Ластова давать мне уроки из естественной истории; он, говорят, мастер своего дела. Но средства мои не позволяли мне предложить ему более рубля за час, а крайняя такса ему три. Сделка наша и не состоялась.

Между присутствующими послышался шепот неудовольствия и сдержанный смех. Наденька приняла сторону учителя.

— Что ж, если бы я, подобно Льву Ильичу, была занята магистерской диссертацией, то и сама не взяла бы менее трех рублей. Time is

money [4], говорят англичане.

— А он англичанин? — усмехнулась Вреднева.

— Полно вздор-то нести. Надеюсь, господа, вы не взыщете, что я, не спросясь, решилась познакомить его с нашими собраниями?

— Помилуйте, нам даже очень приятно, — любезно уверили хорошенькую товарку близсидевшие студенты.

— Ну, так оставайтесь, — проворчал Чекмарев. — Облачение ваше вы можете приобщить вон к общей рухляди.

Он указал на кучу сваленных в углу шинелей, серых форменных пальто и салопов.

— Где присесть, — прибавил он небрежно, — потрудитесь приискать уж сами, стулья до одного заняты.

Двое студентов, полулежащих на кровати, сжалились над бесприютным пришельцем и отодвинулись в одну сторону. Поблагодарив, он пристроился кое-как на опроставшемся месте. Наденька, сидевшая почти насупротив его, подала ему через стол руку.

— Да и вы курите? — удивился Ластов, заметив в зубах студентки дымящуюся папи-

роску.

— Как видите. Самсон крепкий, — присовокупила она не без самодовольства.

— А родители ваши знают?

— Н-нет, — должна была она сознаться и покраснела. — Маман, видите ли, не любит табачного запаха...

— Так-с. Вы скрываете от них из чувства детского уважения? Похвально. И вы находите удовольствие в курении?

— Пф, пф... да. Только голова с непривычки кружится.

— Так зачем же вы курите? Женщинам оно к тому же и нейдет.

Студентка сделала глубокую затяжку и со-страдательно усмехнулась.

— Почему это? Мы создания нежные, эфирные, своего рода полевые цветочки; аромат наш может пострадать от едкого табачного дыма?

— Пожалуй, что и так.

— Липецкая, Ластов, silentium [5]! — возвысил голос Чекмарев. — На чем мы, бишь, остановились?

— Шроф описывал случай трудных ро-

дов! — отвечал кто-то.

— Извольте же продолжать, Шроф.

— Что это у вас, публичные чтения? Объясните, пожалуйста, — отнесся Ластов шепотом к соседу.

— Всякий из нашей среды, — отвечал тот, — кому попадется на неделе интересный случай болезни, обязан дать подробный о нем отчет. Не пользующие еще больных приводят все мало-мальски замечательное, прочтенное ими в книгах или слышанное на профессорских лекциях. Возбуждаются дебаты, при которых предмет окончательно разъясняется.

Студент, названный Шрофом, начал свое описание. После первых же слов он был прерван, но не без ловкости отпарировал возражения; вмешались другие, загорелся оживленный спор. Хотя Ластов был профаном в медицине, и изобилие медицинских терминов, испещрявших речь споривших, затемняло ему иногда общий смысл спорного предмета, — тем не менее внимание его было живо возбуждено: он видел свежие, бродящие силы, стремящиеся с восторженностью молодости к свету науки, к свету истины. Острые,

меткие замечания, как искры из кремня, сыпались справа и слева. Если прения принимали слишком полемический характер, Чекмарев, исправлявший должность президента настоящего митинга, стучал по столу и не допускавшим противоречия «*silentium!*» водворял гражданский порядок. Досаждало Ластова одно — присутствие молодых девиц, выслушивавших лицом к лицу с молодыми людьми такие подробности о некоторых физиологических процессах, которые невольным образом должны были оскорблять в них врожденную женскую стыдливость.

За Шрофом выпросил себе право говорить другой студент. В самом разгаре прений один из присутствующих осведомился у хозяина: припасено ли пиво?

— Всенепременно, — отвечал тот.

— Чего ж, вы дожидаетесь? Тащите его сюда, совсем в горле пересохло.

— *Patientia* [6]! Явится вместе с чаем; всякому *ad libitum* [7] то или другое. Узнаем, что самовар?

Взяв в обе руки по бутылке-подсвечнику, он ударил их звонко одну об другую. В дверь

высунулась голова:

— Чего вам?

— *Ipsecoquens*? Самовар?

— Сейчас закипел.

— Так подавай.

Вскоре перед председателем шипел пузатый исполин-самовар. Рядом появился поднос с чайником, стаканами (без блюдец), ножами, чаем в бумажной трубочке и грудой крупных, в полкулака, сахарных осколков. Затем был насыпан вдоль всего ряда столов вал из сухарей, пеклеванных и французских булок.

— А *butyrum vaccinum* [8]? — строго спросил хозяин.

— Сию минуту, — отвечала служанка, торопясь принести масло — кусок в несколько фунтов, завернутый еще в лавочную бумагу.

Заварив чай, Чекмарев наклонился под кровать и, отодвинув, не говоря ни слова, в сторону ноги Ластова, вытащил из-за них полновесную пивную корзину.

Потом с тщанием начал расставлять симметричным треугольником батарею бутылок посередине стола.

— Кто пьет пиво, — объяснил он, — пьет

его в эмбриональном виде, непосредственно из бутылок; стаканы определены для чаю.

Пивной треугольник тут же расстроился. Наденька завладела одной из бутылок и пальцами ловко раскупорила ее.

— Оно ведь фрицевское? — обратилась она деловым тоном к Чекмареву.

— Само собою.

Студентка взглянула мельком на Ластова — и сконфузилась: глаза их встретились.

— Чему вы удивляетесь? — спросила она развязно. — Пиво очень питательно.

*Nunc est bibendum! Nunc pede libero
Pulsanda tellus.[9]*

Встряхнув кудрями, она приложила губами к горлышку, но, от чрезмерного усердия, чуть не захлебнулась и раскашлялась.

— Век живи, век учись, — оправившись, сказала она и, не падая духом, вновь поднесла ко рту питательную влагу.

— Вы, Липецкая, — обратился к ней Чекмарев, — желали, кажется, изложить кое-какие мысли по поводу мошоттовского «Kreislauf des Lebens» [10]?

— Да, и прошу слова, — отвечала она, смело взбрасывая свою хорошенькую головку.

— Внимание же, господа! — провозгласил председатель, прибегая к своему неизменно-му вечевому колокольчику-кулаку. — Будет говорить одна из достоуважаемых товарок наших — Липецкая.

Говор умолк; взоры всего собрания с любопытством устремились на студентку-оратора.

Наденька поправила очки, оперлась руками на стол, откашлянулась и заговорила:

— Господа! Все вы, без сомнения, до одного знаете Молешотта, как свои пять пальцев? Не сомневаюсь также, что во всем, исключая разве незначительные частности, вы сходитесь с ним в воззрениях на духовную жизнь человека, на значение его в ряду остальных органических творений. Представьте же себе, что некий индивидуум не ознакомился еще с основными истинами мира; спрашивается: следует ли нам, посвященным, оставлять его в неведении или нет?

— Что за вопрос! Разумеется, нет, нет и тысяча раз нет!

— Хорошо-с. Но ежели сказанный индиви-

дуум страшится наших суждений, ежели нарочно затыкает уши, чтобы не слышать нас, всеми святыми упрашивает не говорить ему ничего более, — как поступать в таком случае?

Бреднева, сидевшая до этого времени неподвижно, безучастно, изменилась слегка в лице, отделилась головою от стены, к которой прислонялась, и тихо промолвила:

— Ты это про меня, Наденька?

— Да, про тебя, коли ты уже сама выдаешь себя.

— Беру вас, господа, в свидетели, — обратилась Бреднева к окружающим, — имела ли я основание просить ее молчать? Я еще так слаба в естественных науках, что не могу вполне проверить те факты, на которых построены ваши теории. Факты эти могут только спутать меня; ничего не давая взамен, лишит меня краеугольных камней теперешнего моего консервативного мирозерцания, — камней, быть может, и вырубленных не из плотного мрамора, как ваши, а из рыхлого песчаника, но тем не менее служащих хоть каким ни есть фундаментом для моих шатких, отры-

вочных понятий. Ваши же мраморные глыбы обрушиваются на меня горной лавиной и грозят раздавить, расплющить меня.

— Бреднева в известном отношении права, — наставительно заметил Наденьке председатель. — Ребенка вы ни за что не научите читать, пока не покажете ему, как выговаривать отдельные буквы. Как же вы хотите, чтобы она поняла что-либо разумное, когда не может еще проверить на опыте подлинность приводимых вами данных?

— А вы, Чекмарев, в том только и убеждены, что проверили сами на опыте? Вы уверены, например, что земля не стоит на трех рыбах, а несется в пространстве, что она почти сферична, у полюсов только еле сплюснута? Ведь уверены?

— Ну, разумеется.

— Что же вас убедило в том? Делали вы опыты с маятником Фуко, измеряли самолично меридианы? Наблюдали наконец с помощью телескопов лунное затмение?

— Нет.

— Откуда же у вас уверенность, что земля апельсинообразна? Из книг вычитали? Да,

может, книги лгут? В том-то и дело, любезнейший мой, что ни один смертный не может быть специалистом по всем отраслям знания, что мы должны верить на слово своим собратьям по предметам нам чуждым. Вам даются готовые факты — выводите заключение. А не можете сами, так специалисты разжуют за вас и в рот вам положат, знайте только глотать. Первое дело, чтобы убеждения ваши были истинны, а так ли, иначе ли дошли вы до них — дело второстепенное.

— Все это очень красиво сказано, — возразила Бреднева, — но кто, скажи, отвечает мне за то, что ваши-то убеждения и суть истинные, что они не глупое, одуряющее вино?

Пиво поднялось в голову студентке. Она с лихорадочною живостью вскочила с места, загасила с сердцем об стол папиросу и с пылающими щеками, с раздувающимися от волнения ноздрями (глаз ее, за синим цветом очков, не было видно), обратилась к оппонентке с крылатою речью:

— Что такое? Наши убеждения — глупое вино? Убеждения Ньютона, Канта, Гете — глуп-

пое вино? Убеждения первейших натуралистов нашего времени — глупое вино? Одни ваши понятия о мире, понятия профанов в науке мира, верны и непреложны? Поздравляю! Вот так логика! Подлинно, логика профанов!

— К чему так горячиться, моя милая, — остановила порыв гнева холерической ораторки ее лимфатическая подруга. — Я знаю людей, круглых профанов в науке мира, то есть в естественной истории, а между тем весьма неглупых, приносящих обществу немаловажную пользу. У всякого барона своя фантазия. Мы убеждены в одном, вы в другом: «Кто прав, кто виноват — судить не нам». А ведь может же случиться, что ваше ученье все-таки глупое вино? В таком случае ты, отворачив меня насильно от истины, возьмешь ведь грех на душу?

— Если учение наше в самом деле ложно, то ты, так или сяк, рано или поздно, убедишься в том и можешь воротиться на путь истинный. Ложь недолговечна и распадается сама собою.

Художник-варвар кистью сонной

*Картину гения чернить,
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертить.*

*Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей,
Создание гения пред нами
Выходит с прежней красотой.*

Но в том-то и дело, что мы не художники-варвары, вы же не картины гения, а лубочные, толкучные!

— Позвольте и мне сделать одно замечание, — вмешался тут Ластов. — Всегда ли хорошо навязывать другим свои убеждения, если они, по-вашему, даже вполне верны? *Mundus vult decipi — ergo decipiatur* [11]. Они счастливы со своим мирозерцанием, а вы взамен их отрадных, светлых иллюзий даете им одну горькую, голую истину, которая может отравить им всю будущность, довести их, пожалуй, до отчаянья.

Вокруг столов поднялся глухой ропот, сквозь который можно было слышать нелестные для учителя эпитеты:

— Консерватор! Филистер! Тупоумец!

— Et tu quoque, Brute [12]? — продолжала, все более воодушевляясь, Наденька. — Не лучше ли уж отчаиваться, чем жить весь век, хотя относительно счастливо, неразумною тварью? Горчайшая истина все-таки в миллион раз лучше сладчайшей лжи. Да и будет ли кто еще отчаиваться? Вот хоть бы я: не прошла еще, кажись, до конца концов естественных наук, а вполне уже разделяю воззрения натурфилософов, нимало не надеюсь, что в заключение меня по головке погладят; и ничего себе, живу, не рву на себе с отчаянья волос. Гасители же судят о нас как? «Не ожидают, мол, за свое поведение ни розог, ни наградных пряников, так что же им препятствует сделаться первостатейными мошенниками и злодеями?» Слепцы! Да ведь это — то самое обстоятельство, что мы не признаем над собою фантастического *deus ex machina*, что мы сами должны устроить свое земное счастье, и побуждает нас поступать по совести, творить по мере сил добро. Первое условие истинного счастья — все же самоуважение! Если я, положив руку на сердце, могу, не краснея, сказать себе: «Ты делала все, что было в твоей власти

для облегчения жизни твоим ближним, за тобою нет ни одного гнусного поступка, ты можешь уважать себя», — тогда душа моя светла, безмятежна, как безоблачное небо, тогда я счастлива! А надломают мою физическую, слабосильную натуру житейские невзгоды — совести моей они не сломят; я умру, весело улыбаясь! И после возможности на свете подобного счастья оставлять еще людей утопать в невежестве, давать им наслаждаться их паточными пряниками? Ни за что! Пусть слабые очи некоторых и не вынесут блеска ничем не прикрытой, ослепительно-чистой истины, пусть они, как саисский юноша, растеряются и прохнычут всю жизнь — туда, стало быть, и дорога! Не было здоровых задатков для настоящего человека — ну, и жалеть нечего!

Легко себе вообразить, какой энтузиазм возбудил в пылкой молодежи спич восторженной студентки. Ластов собирался еще что-то возразить, но никто уже не обращал на него внимания. Раздались единодушные рукоплескания, возгласы восхищения, топот ног; сам положительный президент не мог

воздержаться от ударения раза два одной ладони о другую.

Речью Наденьки закончился вечер. Начались сборы. Всякий, не без затруднения, выискивал свое верхнее платье из сваленной в углу общей груды.

Польза, польза — мой кумир!
М.Лермонтов

Когда молодежь повалила гурьбой на улицу, Наденька первая укатила в дожидавшихся ее одноместных дрожках.

Ластов очутился около Бредневой.

— Нам, кажется, по дороге... — начал он.

— Нет, не по дороге! — коротко отрезала она и пошла быстрее.

Он, смеясь, на столько же ускорил шаги.

— Да ведь вы не знаете, где я живу?

— Где бы ни жили — нам с вами никогда не по дороге.

— Вы злопамятны, — продолжал учитель. — Надежда Николаевна заметила очень основательно, что мне время нынче дорого: я даю именно столько уроков, чтобы не умереть с голоду. Не забудьте также, что я на другой же день одумался, просил вашего брата передать вам, что все-таки готов учить вас, но тут уже вы сами отказались.

— Отказалась, потому что не желаю полу-

чать милостыню. Я, поверьте мне, заплатила бы вам и более рубля за час, если бы только позволяли средства. Вы, г-н Ластов, должны войти в мое положение: живу я с матерью и братом; мать получает незначительную пенсию; брат и гроша еще заработать не может; главная забота о нашем пропитании лежит, следовательно, на мне. Окончив в прошлом году вместе с Липецкой гимназией, я принуждена была принять место бухгалтерского помощника в купеческой конторе. Там утро мое все занято. До обеда я даю уроки музыки. Таким образом, для себя, для собственных занятий я имею только вечер. А сколько успеешь сделать в вечер без посторонней помощи? Посещать лекции в академии могу я только урывками, сходки несколько чаще, но также не всегда. Мне нужен был опытный руководитель, который помог бы мне восполнить то на дому, что я упустила на лекциях. В первых курсах академии главную роль играют естественные науки. Я обратилась к вам как к капитальному натуралисту — вы отказались...

Учитель слушал экс-гимназистку с большим сочувствием.

— Вопрос теперь только в том, — сказал он, — есть ли в вас вообще призвание к медицине?

— Это покажет будущность.

— Нет, это необходимо знать уже заранее, чтобы не тратить попусту трудов. Извините: как вас по имени и отчеству?

— Авдотья Петровна.

— Вы, Авдотья Петровна, сколько я успел заметить, — флегматка и, вероятно, любите покой, комфорт?

— Люблю; что греха таить.

— Вот видите. А жизнь врача — вечная каторга, непрерывная возня с народом изнывающим, причудливым, с которым требуется ангельское терпение. Будете ли вы в гостях, приляжете ли дома у себя отдохнуть от дневной беготни — во всякое время дня и ночи вас могут отозвать к пациенту, и вы волей-неволей обязаны повиноваться, не прекословя дышать опять полною грудью в атмосфере морально и физически удушливой, часто заразной. А не пойдете раз или своенравную воркотню больного не снесете хладнокровно — мигом лишитесь практики, а следова-

тельно, и пропитания.

— Лев Ильич, вы немилосердны! Профессия врача всегда мне казалась такой благородной...

— Без сомнения, она весьма почтенна и представляет безграничное поле для постоянных самоотвержений. Но она требует и нрава кроткого, воли железной, нервов и мышц неутомимых. За неимением этих качеств врач или делается подлым шарлатаном (и сколько-то их на белом свете!) или подкапывает в самое короткое время собственное здоровье, ради здоровья других; а ведь всякому своя рубашка ближе к телу. Людей очень молодых, пылких и исполненных благородного стремления жертвовать всем для блага ближних, обязанности врача пленяют именно своей очевидной пользой; не испытав всех неудобств, неразрывно связанных с этими обязанностями, они вряд ли подозревают их. Вы бывали в Эрмитаже?

— Как же!

— И видали там морские виды Айвазовского?

— Видала.

— Не правда ли, как увлекательно хороши его бури? Вода, прозрачная, смарагдовая, что твой рейнвейн, плещет до небес; корабль, с разодранными в клочки парусами, опьянел и захлебывается; экипаж повис на снастях и мачтах, и волны, славные такие, хлещут им через головы. Глядишь, не налюбуеться великолепие и только! А попробуй вы сами переиспытать кораблекрушение, посидеть среди свиста и рева урагана, на расщепленной мачте, качиваемые каждый миг с головы до ног ледяным рассолом — куда бы девалась для вас вся поэзия бури!

Бреднева поникла головою.

— Вы разбиваете лучшие мои мечты... Если бы вы только знали, Лев Ильич, как мне приелась бухгалтерия! Мертвая цифра да эти бесконечные вычисления...

— Авдотья Петровна! Вы жалуетсяь на сухость бухгалтерии, да мало ли на свете суши? Вы думаете, мне интересно изо дня в день вдалбливать в неразвитых мальчуганов одни и те же научные азы? А чиновником быть, вы полагаете, весело? По одной заданной форме кропать бумаги да бумаги? Или, и того хуже,

переписывать и подшивать листы, как то зачастую выпадает на долю молодым канцелярским, хотя бы и окончившим в университете высший курс наук? А каково, скажите, управлять заводом? С утра до вечера возиться с бесплодными рабочими и ни с душой живого слова не перемолвить? Нет, если не сжиться со своей работой, не вдохнуть в нее жизни, то она и останется бездушной. Что же до вашей бухгалтерии, то она — занятие совершенно по вас: спокойное, безмятежное, требующее всегда напряженного внимания, нередко и умственного соображения, а главное — хлебное,

— Да пользы, Лев Ильич, пользы нет от нее!

— А вам сколько платят?

— Да нет же, я не хлопочу о своей выгоде, я говорю о пользе общественной.

— Общественной? Ах, Авдотья Петровна, оставьте покуда общество в стороне, достаточно с вас, право, забот ваших о благосостоянии матери и брата. Если бы только всякий из нас исполнял добросовестно выпавшие на его долю обязанности, поверьте, всем бы жи-

лось хорошо. Общественная польза есть здание, на постройку которого каждый должен принести один только кирпич, но кирпич этот должен быть уже высшего сорта.

— Приходится открыться вам, Лев Ильич, — проговорила, заминаясь, Бреднева. — В гимназии я была всегда первой, и гимназический курс, сказать не хвалясь, знаю весьма-таки изрядно. Только математике нас учили спустя рукава. Взявшись за бухгалтерию, я чересчур понадеялась на себя; теперь запутала дело, наделала ошибок, не знаю еще, как выпутаюсь.

— Но как же вам доверили счетную часть, когда вы так слабы в ней?

— Один товарищ брата, сын купца, рекомендовал меня своему отцу... Да ведение книг я и без того знаю; только эти вычисления, пропорции сбивают меня.

— Так попросите брата растолковать вам пропорции; они в сущности очень просты.

— Ах, нет, Лев Ильич, бухгалтерия мне уж по горло, я все-таки брошу ее. Мне хочется чего-нибудь свежего, живого.

Ластов с сожалением пожал плечами.

— Дай вам Бог успеха на поприще медицины. Я, со своей стороны, не хочу быть вам помехой. Занятие естественными науками во всяком случае увеличит запас ваших знаний, разовьет вас. Прошу вас поэтому забыть прошлое и сделаться моей ученицей.

Бреднева быстро повернулась к нему всем лицом. При свете ближнего фонаря он увидел как в бесцветных глазах ее блеснул при этом луч удовлетворенного самолюбия.

— То есть как же так? — спросила она. — По рублю за час?

— По рублю.

— Вы, Лев Ильич, великодушничаете, но чтобы показать вам, что я не упряма, я не отказываюсь. Вот вам рука моя. Вы человек благородный, хотя... маленький консерватор.

Когда Бреднева сказала своему будущему наставнику свой адрес, то оказалось, что они живут друг от друга в какой-нибудь четверти часа ходьбы, хотя в начале разговора она и объявила, что им «не по дороге». Теперь они оба над этим посмеялись и на общем извозчике доехали до квартиры Бредневой, где подружески распростились.

IV

*Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь!*
А.Пушкин

В условленный день и час учитель явился на урок. Первый прием, сделанный ему, был далеко не любезен. Едва ступил он в переднюю, как косматая, средней величины собака, злобно рыча, бросилась к нему на грудь, стараясь допрыгнуть до его лица. Мать Бредневой, седая старушка с добродушной, незначительной физиономией, впустившая Ластова, совсем растерялась.

— Ах ты, Господи! Ксеркс, куш!

Но в это время нижняя челюсть Ксеркса очутилась уже в железных пальцах гостя, которые, как видно, сжимали ее не очень-то ласково, потому что бедное животное, извиваясь змеем, жалобно завизжало, напрасно силясь высвободить челюсть из неожиданных тисков.

— Что, голубчик, непривычно? — говорил учитель, трепля его свободною рукою по

взъерошенному хребту. — Ну, ничего, ступай, будет, я думаю, с тебя.

Он разнял пальцы. Поджав хвост и тихо ворча, побежденный Ксеркс поспешил ретироваться за перегородку, отделявшую прихожую от кухни.

— Экая злая собачонка! Но она умна и верна, вот за что мы ее и держим, — извинилась г-жа Бреднева, все еще не оправившаяся от перепуга; потом взглянула приветливо-вопросительно на гостя: — Г-н Ластов?

— Так точно, — отвечал он. — А вы, если не ошибаюсь, матушка Авдотьи и Алексея Петровичей?

— Да-с, да-с. Но не причинила ли она вам боли, Боже сохрани?

— Нет, — улыбнулся Ластов, — ей, во всяком случае, было больнее, чем мне. Но мы будем еще добрыми друзьями. Дети ваши дома?

— Да, они только что за книжками. Не угодно ли войти?

Она повела учителя во внутренние покои; их было весьма немного: всего два. Первый, довольно просторный, был разгорожен во всю длину зеленой, штофной драпировкой, за

которой должно было предполагать кровати. Меблировка, комфортабельная и полная, напоминала о лучших временах. Дверь во вторую комнату была притворена; старушка тихонько просунула в нее голову.

— Дуня, можно войти? Г-н Ластов пришел.

— Разумеется, можно, — ответил изнутри голос дочери. — Попросите его сюда.

Г-жа Бреднева толкнула дверь и пропустила вперед гостя. Комната эта по объему была вдвое меньше первой, с одним лишь окном, перед которым за рабочим столиком занимались при свете полуторарублевой шандоровской лампы гимназист и сестра его. После первых приветствий между наставником и питомцами старушка смиренно исчезла, взяв с собой и сына.

— Что вы тут подделывали? — осведомился Ластов, когда они с ученицей остались одни.

— А латынь подзубривали, — отвечала она, — исключения по третьему склонению:

*Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis...*

Спросите-ка меня что-нибудь, Лев Ильич?

Вот Кюнер. Чтобы удовлетворить ее желанию, Ластов стал перелистывать поданную грамматику.

— Как же *infinitivum futuri passivi* от *caedere*?

— Это что такое?

— Глагол: *caedo, cecidi, caesum, caedere*.

— Мы еще не дошли до глаголов... — отговорила в минорном тоне девушка. — Вы бы переспросили исключения по третьему...

— Извольте. Скажите мне исключения мужского рода на *es*?

— Мужского же на *es*

Суть *palumbes* и *verpes*

— А «лес»?

— «Лес»? — Бреднева стала в тупик. — В самом деле, ведь лес мужского рода, — проговорила она раздумчиво. — Отчего же его не привели тут?

— Оттого, — усмехнулся Ластов, — что он пишется не рез *e s*, а через *п с*.

Два розовых пятнышка выступили на бледных щеках ученицы; она принужденно улыбнулась.

— Ведь вот как иногда бываешь глупа! Точ-

но обухом хватили. Русское слово, конечно, не может быть в исключениях латинского языка.

— А как ваши познания в естественных науках? По какой части естественных наук вы сильнее?

— Да по всем слабее! У нас ведь в женских учебных заведениях на естественную историю смотрят как на игрушку, на собрание фокусов. Вот другое дело — история неестественная! В той я действительно сильна; из нее у меня всегда стояли пятаки с плюсом. Вы, Лев Ильич, должны ознакомиться с познаниями вашей ученицы по всем отраслям знания. Задайте-ка мне вопрос из истории?

— Если желаете. Что было главным мотивом для крестовых походов?

— Да вы не так спрашиваете... Спросите какой-нибудь факт.

— Когда начались крестовые походы?

— Ну, уж какой легкий вопрос! Первый крестовый поход был от 1096-го до 1099-го, второй...

— Так; но до или после рождества Христова?

— Дайте подумать... Боже мой, как же я это забыла?

— Да из-за чего, собственно, состоялись крестовые походы? Ведь из-за гроба Христова?

Кровь бросилась в голову девушке.

— Какая я бестолковая! Вот вам наше женское воспитание! Все выучено как-нибудь, для урока только, без толку, без связи. В эту минуту я, кажется, не в состоянии даже сказать вам, кто прежде царствовал: Александр Македонский или Александр Великий?

Сострадательная улыбка появилась на губах учителя.

— А и то, постарайтесь-ка припомнить: кто из них жил раньше?

Бреднева глубокомысленно устремила взор в пространство. Вдруг она вздрогнула и закрылась руками.

— Ах, батюшки мои, да ведь это одно и то же лицо!

— Не падайте духом, — старался утешить ее Ластов. — Ничто не дается вдруг. Как возьметесь толково за дело, так все еще, даст Бог, пойдет на лад.

*Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe
cadendo,
Homo venit doctus non vi, sed
semper studendo.[13]*

— И этого не понимаю... — прошептала ученица.

— По-нашему это: капля по капле и камень долбит. Продолжайте свои занятия латынью у брата: латинский язык также содействует умственному развитию, займитесь, если успеете превозмочь себя, и математикой. Мы же с вами примемся сряду за естественные науки. В начале я намерен посвятить вас в орнитографию растений: она доступнее прочего. Уж скоро семь, — прибавил Ластов, глядя на часы. — Прикажете начинать?

— Сделайте милость, — проговорила, не взглядывая, пристыженная экс-гимназистка.

Началась лекция. Юный натуралист имел дар говорить плавно, удобопонятно, картинными сравнениями, и того более: он говорил с любовью к излагаемому предмету, почему речь его приобретала некоторый поэтический колорит. Для большей наглядности он описываемое им чертил на листе бумаги,

причем выказал также заметный навык в рисовании. Известно, что ничто так не располагает слушателя к внимательности, как видимое сочувствие самого повествователя к своей теме. Бреднева слушала учителя с пританенным дыханием, боясь проронить слово. Лицо ее зарумянилось, глаза увлажнились; отблеск вдохновенной лекции натуралиста-поэта упал на непривлекательные черты ее и сделал их почти миловидными.

В соседней комнате пробило восемь. Ластов прервал поток своего красноречия.

— На сегодня, пожалуй, будет? Девушка очнулась, как от волшебного сна.

— Как время-то пролетело! В самом деле, вы, вероятно, утомились. Но вы, конечно, напьетесь у нас чаю?

И, не дожидаясь ответа, она, с непривычною для нее торопливостью, вышла.

Ластов хорошенько потянулся, потом вскочил на ноги и, присвистывая, прошелся по комнате. Теперь только разглядел он убранство ее в подробности. Поперек комнаты, против окна, стояли зеленые ширмы. Ненароком заглянув за них, он увидел платяной шкаф,

обвешанный со всех сторон разнообразными женскими доспехами, и кровать, усыпанную снятым бельем. Над изголовьем висело три портрета в простых, черных рамках: Герцена, Добролюбова и Чернышевского. Учитель огляделся в комнате: по одной из продольных стен стояли массивный туалет со сломанной ножкой и два-три стула; по другой — незакрытое пианино, на котором валялась недоеденная корка черствого хлеба, и далее — этажерка с нотами и книгами. Ластов взял со стола лампу и присел у этажерки. На верхних двух полках были навалены непереpletенные, растрепанные и засаленные номера «Современника» и «Русского Слова» за два прошлые года. Ниже были расставлены в пестром беспорядке отдельные тома сочинений Бюхнера, Фохта, одна часть истории Маколея на английском языке, какой-то роман Жорж Занд, «The'orie des quatre mouvements» Фурье.

Вошла Бреднева с подносом, уставленным всевозможными чайными принадлежностями.

— У нас нет прислуги, — пояснила она. — А! Вы ревизуете мою библиотеку? Ну, что, ка-

ков выбор книг?

— Односторонен немножко.

— Да, я и сама сознаю, что многого еще недостает; но курочка по зернышку клюет. Я попрошу вас когда-нибудь разъяснить мне некоторые выражения, попадающиеся зачастую в серьезных сочинениях, как-то: «индукция», «дедукция», «субъективность» и «объективность», «индивидуальность», «эксплуатировать»... За исключением подобных слов мне все понятно. Любите вы, Лев Ильич, музыку?

— Еще бы. А вы хотите сыграть мне что-нибудь?

— Да, чтобы чай вам показался вкуснее.

— Предупреждаю, однако, что в ученой музыке я круглый невежда.

— Мы попотчует вас оперной.

— Вот это дело.

Она села за инструмент и заиграла. Играла она бойко и с чувством. Окончив пьесу громовым аккордом, она приподнялась и медленно подошла к учителю.

— Теперь вам известны все мои достоинства и недостатки. От вас будет зависеть раз-

вить первые, искоренить последние.

Ластов пристально взглянул ей в глаза.

— Все? — спросил он.

— Все.

— И вы не рассердитесь? Я присоветую вам как старший брат.

Легкое беспокойство выразилось в апатичных чертах девушки.

— Все равно, говорите.

— У вас есть некоторые достоинства вашего пола: есть неподдельное чувство, как показала сейчас ваша игра. Отчего бы вам не быть в полном смысле слова женщиной, не быть хоть немножко кокеткой?

— Что вы, Лев Ильич! При моем уродливом лице да кокетничать — ведь это значит сделать себя посмешищем людей.

— Кто вас уверил, что вы уродливы? Лицо у вас обыкновенное, каких на свете очень и очень много, а при тщательном уходе может и понравиться мужчине. Притом же я советую вам не кокетничать, а быть кокеткой, то есть заняться более собой, своей наружностью. Вы... как бы это выразить по деликатней?

— Ничего, говорите.

— Мы слишком небрежны... неряшливы.
Бреднева потупила глаза.

— Да в чем же, Лев Ильич?

— Я заглянул как-то за ширмы — и решил-
ся дать вам совет быть более женщиной.

Девушка заметно сконфузилась и не знала,
куда повернуть свое раскрасневшееся лицо. С
минуту длилось неловкое молчание. Ластов
взялся за шляпу.

— Когда прикажете явиться на следующий
урок?

— Да через неделю...

— Не редко ли будет? Этак мы не скоро по-
двинемся вперед.

— Но мне нельзя, Лев Ильич...

— Время вам не позволяет?

— Не то... Мои денежные ресурсы...

— О, что до этого, то, пожалуйста, не за-
ботьтесь. У вас есть охота учиться, а прилеж-
ным ученикам я всегда сбавляю половину
платы. С вас, значит, это составит по полтине
за час.

Ученица подняла к нему лицо, с которого
светилась непритворная благодарность.

— Вы уж не позволительно добры! Но я не смею отказаться. Приходите, если можете, в четверг.

— Могу.

— Вы захватите с собой и учебников?

— Учебников, живых растений, микроскоп. До свидания.

— До приятного! Для меня, по крайней мере, оно будет, наверное, приятным.

*Я целый час болотом занялся...
 Лишь незабудок сочных бирюза
 Кругом глядит умильно мне в глаза,
 Да оживляет бедный мир болотный
 Порханье белой бабочки залетной...
 А. Майков*

«Милостивый Государь Господин магистр in spe [14]!

Сколько по Вашему расчету дней в месяце: 30 или 40? К тому же теперь у нас февраль, где их не более 29-ти. Впрочем, цель этой записки вовсе не та, чтобы укорить Вас в забывчивости: не воображайте, пожалуйста, что по Вас соскучились. Дело в том, что к нам будут сегодня Куницыны с компанией, которых Вы, вероятно, давно уже не имели удовольствия видеть (хотя доза этого удовольствия и будет гомеопатическая). Сверх того — и это главное — у меня имеется для Вас одна старая знакомка (но премолоденькая, прехорошенькая! Куда лучше Вашей Бредневой), которой бы, Бог знает как, хотелось поглядеть на Вас. Все пристаёт с

расспросами: „Да и ходит ли он к вам? Да когда ж он наконец будет?“ Надеюсь, domine Urse [15] (имя Leo Вам во все не к лицу), что хоть ради этой особы Вы вылезете из своей берлоги. P.S. Приходите пораньше».

Такого содержания письмецо было вручено Ластову гимназическим сторожем при выходе учителя со звонком из класса. Подписи не было. Но и по женскому почерку, как и по содержанию послания, он ни на минуту не задумался, от кого оно. Сначала он поморщился и, видимо, колебался, идти ли ему или нет; в восьмом же часу вечера он звонил в колокольчик у Липецких.

Отворила ему цветущая, полная девушка с большими, навывкате, бархатными очами и слегка, но мило вздернутым носиком, в народном костюме бернских швейцарок.

— Ach, Herr Lastow! — радостно вспыхнула она, чуть не уронив из рук свечи.

И по лицу Ластова пробежал луч удовольствия, но вслед затем брови его сдвинулись.

— Marie... вы здесь? Из Интерлакена да в Петербурге? — спросил он по-немецки.

— Да, в Петербурге... Признайтесь, вы не ожидали? Хотелось посмотреть, как вы живете-можете...

— Но где фрейлейн Липецкая изловила вас?

— Да уж изловила! Как вы, г. Ластов, возмужали, похорошели! Эти бакенбарды...

— А вы, Мари, по-прежнему очаровательны.

— Насмешник!

— Серьезно.

Он сбросил ей на руки шинель и вошел в изящно убранный зал, освещенный матовой, колоссальных размеров лампой. Навстречу ему вышла, самодовольно улыбаясь, с протянутой рукою Наденька.

— Ага! Приманка-то — хорошенькая знакомка — подействовала, и ведь в ту же минуту, точно шпанская мушка. Хотела бы я знать, когда бы вы вспомнили нас без этой мушки?

— Я, право, все собирался зайти...

— Сочиняйте больше! Знаем мы вашего брата, ученого: вам бы только книг да микроскоп, а другие хоть смертью помирай — и ухом не поведете. Ну, да Бог вас простит. Са-

дитесь, расскажите что-нибудь. Скоро вы защищаете диссертацию? Уж не взыщете, а мы тоже будем на диспуте и оппонировать будем. Не страшно вам? Ну, а сходка наша вам как понравилась? С тех пор и глаз не показали. Видно, не пришлась по вкусу?

Студентка была в духе: слова так и лились у нее. Не дождавшись ответа, она спохватилась:

— Да где же Мари? Holla, Marie, kommen Sie mal her [16].

Швейцарка тут же явилась на зов и остановилась в дверях.

— Чего прикажете?

— Да вы высматривали в щелку?

— Нет, фрейлейн... я... я была тут за лампой.

— За лампой? Вот как! Слышите, г. Ластов, вы — лампа? Ну, что ж, моя милая, подойдите ближе, полюбуйтесь на вашу лампу.

Наденька говорила это легким, шутливым тоном, невинно наслаждаясь замешательством служанки.

— Да я и отсюда вижу их.

— Вы не близоруки? Ха, ха! Полноте, не же-

маньтесь.

Она подошла к швейцарке, повела сопротивляющуюся за руку к дивану и принудила ее сесть рядом с учителем.

— Вот так. Теперь расскажите своей лампе обстоятельно, что побудило вас бросить Швейцарию?

— Да, любезная Мари, меня это серьезно интересует, — попросил со своей стороны и Ластов.

— Близких родных у меня нет... Хлеб у нас зарабатывать трудно... Один знакомый мне энгадинец имеет здесь кондитерское заведение: в Энгадине все занимаются этим делом... В России многие сделали свое счастье... Я достала адрес энгадинца, связала свои пожитки и поехала...

Так повествовала отрывочными фразами швейцарка, исподлобья, пугливым, но пылким взором окидывая по временам Ластова.

— Коротко и ясно, — сказала Наденька. — Но вы не рассказали еще, как попали ко мне. Проходя мимо кондитерской, я в окно увидела ее за прилавком и, разумеется, поспешила войти, поздороваться с нею. Она, казалось,

еще более моего обрадовалась и первым вопросом ее было: «А вы не замужем за г. Ластовым?» Я расхохоталась и обозвала ее сумасшедшей. «Но, он, — говорит, — бывает у вас?» Вот что значит истинная-то любовь! Можете поздравить себя, г. Ластов, с победой. «Бывает, — говорю, — да только как красное солнышко». — «Так возьмите, — говорит, — меня к себе?» — «Дурочка! — говорю. — В качестве чего же я возьму вас к себе?» — «Да горничной, кухаркой, чем хотите; я, говорит, и стряпать умею». Преуморительная. Особой для себя кухарки я, конечно, не держу, но горничную я отпустила на днях и предложила Мари занять ее место. Так-то вот она у меня, а все благодаря вам, своей лампе.

Мари, не собравшаяся еще с духом, начала, краснея, заминаясь, оправдываться, когда речь ее была прервана появлением отца Наденьки, Николая Николаевича Липецкого, осанистого старика с владимирской ленточкой в петличке домашнего сюртука.

Кивнув головою гостю ровно на столько, сколько предписано российским кодексом десяти тысяч церемоний отечественным на-

шим мандаринам, он снисходительно протянул ему левую руку.

— Кажется, видел вас уже у себя? Если не совсем ошибаюсь: г-н..?

— Лев Ильич Ластов, — предупредила учителя студентка. — Был шафером у Лизы. Впрочем, он явился не к вам, папа, а ко мне.

— Помню, помню, — промолвил г. Липецкий, пропуская мимо ушей последнее замечание дочери. — Весьма приятно возобновить знакомство. А вы-то по какому праву здесь? — вскинулся он внезапно с юпитерскою осанкой на швейцарку, торопливо приподнявшуюся при его приходе с дивана, но с испуга так и оставшуюся на том же месте.

Мари оторопела и, зардевшись как маков цвет, перебирала складки платья.

— Я., я... — лепетала она.

— Вы, кажется, забываете, какое место вы занимаете в моем доме?

— Это я усадила ее, — выручила девушку молодая госпожа ее, — она сама ни за что бы не решилась. Но я все-таки не вижу причины, папа, почему бы ей и не сидеть подобно нам? Кажись, такой же человек?

Сановник насупился, но вслед затем принудил себя к улыбке и потрепал подбородок дочери.

— Кипяток, кипяток! Как раз обожжешься. Ты, мой друг, думала, что я говорю серьезно? Я очень хорошо понимаю, что того... с гуманной точки зрения, и низший слуга наш имеет равное с нами право на существование и, прислуживая нам, оказывает нам, так сказать, еще в некотором роде честь и снисхождение. Вы, г. Ластов, разумеется, также из людей современных? Свобода личности, я вам скажу, великое дело! Вот и Надежда Николаевна паша может делать что ей угодно; мы полагаемся вполне на ее природный такт.

— А не отпускаете никуда без ливрейной тени? — сказала с иронией студентка.

— А, моя милая, без этого невозможно. Да и тут я, собственно говоря делаю только уступку светским требованиям твоей татаи. Да вы то что ж прилипли к полу? — повернулся он опять круто, с ледяною вежливостью, к горничной, о которой было забыл в разгаре панегирика свободе личности. — Лампа в передней у вас зажжена?

— Я только собиралась зажечь, когда...

— Так потрудитесь окончить свое дело, а там мы еще поговорим с вами. Ну-с, скоро ли?

Мари со смирением оставила зал.

— С людьми необходима того-с... известная пунктуальность, — пояснил г. Липецкий, — чтобы не зазнавались. Вы понимаете? Как гуманно мое с ними обращение, явствует уж из того, что этой горничной я говорю даже: вы. Привыкла, ну, и пускай. В каждом человеке, по-моему, надо уважать личность.

— Что к это, однако, Куницыны? — заметила Наденька.

— А они также хотели быть? — спросил отец.

— Да, обещались. Но вы, папа, пожалуйста, уберите тогда к себе, да и маменьки не присылайте: все как-то свободнее.

— Ах, ты, моя республиканка! Тут в передней раздался звонок.

— Ну, они. Quand on parle du loup... [17] Прощайте, папа, отправляйтесь. Вы, Лев Ильич, помните сказку про золотого гуся?

— Помню. Это где один держится за другого, а передний за гуся?

— Именно. Тут Куницын гусь; за ним вереницей тянутся Моничка, Диоскуров и Пробкина. Примечайте.

Ожидаемые вошли в комнату.

Куницын, розовый, но уже заметно измятый юноша, с вытянутыми в обоюдоострую иглу усиками над самонадеянно вздернутой губой и со стеклышком в правом глазу, с развязною небрежностью поцеловал руку Наденьки, которую та, однако, с негодованием отдернула, потом хлопнул Ластова приятельски по плечу.

— Что ж ты, братец, не явился на крестины нашего первородного? Вот, я тебе скажу, крикун-то! Sapristi [18]! Зажимай себе только уши. Наверное, вторым Тамберликом будет. И что за умница! По команде кашу с ложки ест: un, deux, trois [19]!

Madame Куницына, или попросту Моничка, востроногая, маленькая брюнетка, и Пробкина, пухленькая, разряженная светская кукла, звонко чмокнулись с молодой дочерью дома. Диоскуров, юный воин в аксельбантах, фамильярно потряс ей руку.

— Ну, что? — был ее первый вопрос ему. —

Свели вы, по обещанию, денщика своего в театр?

— И не спрашивайте? — махнул он рукой. — Сам не рад был, что свел.

— Что так?

— Да взял я его, натурально, в кресла. Рядом с ним, как на грех, сел генерал. Филат мой и туда, и сюда, вертелся, как черт на юру, почесывался, пальцами, как говорится, обходился вместо платка. Вчуже даже совесть забирала. А вернулись домой — меня же еще укорять стал: «На смех, что ли людям в киятр-то взяли? Чай, много, — говорит, — денег потратили?» — «По два, — говорю, — рубля на брата.» Он и глаза вытаращил. «По два рубля? Да что бы вам было подарить мне их так; и сраму бы не было, и польза была бы». А уж известно, какую пользу извлечет этакий субъект из денег: просадит, с такими же забулдыгами, как сам, в ближней распивочной.

— *C'est superbe* [20]! — скосила презрительно губки Моничка. — Вперед вам наука: не сажайте мужика за стол — он и ноги на стол.

— Теперь я его, разумеется, иначе как плебеем и не зову: «Набей, мол, плебей трубку,

подай, плебей, мокроступы». Что же, однако, mesdames, — предложил Куницын, — хотите поразмять косточки? Сыграть вам новый вальс brilliant?

— Нет, уж избавьте, — отвечала студентка, — эквилибристические упражнения пригодны разве для цирка, а не для людей разумных, если случайно не соединены с гигиенической целью. По мне уж лучше в маленькие игры.

— Ах, да, — подхватила Пробкина. — В веревочку или в кошку-мышку?

— В фанты, в фанты! — подала голос Моничка.

— Ну да, — сказала Наденька, — потому что в фантах можно целоваться. Все это плоско, избито. Под маленькими играми я разумею только les petits jeux d'esprit [21]. Погодите минутку; сейчас добудем материалов.

Она отправилась за бумагой и прочими письменными принадлежностями.

— Теперь стулья вокруг стола. Да живее, господа! Двигайтесь.

— Fi, какая скука, — зевнула Моничка. — Верно, опять эпитафии или вопросы да отве-

ты?

— Нет, мы займемся сегодня поэзией, откроем фабрику стихов.

— Это как же? — спросил кто-то.

— А вот как. Я, положим, напишу строчку, вы должны написать под нею подходящую, рифмованную, и одну без рифмы. Отогнув две верхние, чтобы их нельзя было прочесть, вы передаете лист соседу, который, в свою очередь, присочиняет к вашей нерифмованной строке опять рифмованную и одну без рифмы и передает лист далее. Процедура эта начнется одновременно на нескольких листах, и в заключение получится букет пренелепых стихотворений, хоть сейчас в печать, которые и будут прочтены во всеобщее назидание. Понятно? Ну, так за дело.

Карандаши неслышно заскользили по бумаге, перья заскрипели, передаваемые из рук в руки листы зашуршали.

Моничка, приютившая под сенью своего пышного платья с одной стороны — мужа, с другой — Диоскурова, поминутно шушукалась с последним — вероятно, советуясь насчет требуемой в данном случае рифмы.

Куницын занялся Пробкиной. В начале ба-
рышня эта хотела вовлечь в разговор и офи-
цера.

— Давно уж тебя дожидалась я тщетно, -
прочла она вслух. — Ах, m-г Диоскуров,
будьте добренький, пособите мне?

Он, не говоря ни слова, взял лист и, не за-
думываясь, приписал:

*— Ужели, вздыхала, умру я без-
детно?*

*Хоть черт бы какой приударил за
мною!*

Потом снова обратился к Моничке.

— Скверный! — пробормотала Пробкина и,
с ожесточением в сердце, уже нераздельно
посвятила свое внимание Куницыну.

Наденька и Ластов, сотрудничествуя в сти-
хотворных пьесах всего общества, сочиняли
одну исключительно вдвоем. Начала ее На-
денька, и самым невинным образом:

— Из-за домов луна восходит.

Ластов продолжал:

*— А у меня с ума не сходит,
Что все изменчиво — и ты.*

— Оставьте глупые мечты,

На жизнь практичнее взгляните,
ответствовала студентка.

*— Увы! Как волка ни кормите,
А он все в лес; таков и я.*

*— Ну, вот! Как будто и нельзя
Однажды сбросить волчью шкуру?*

Не ограничиваясь определенной в игре двойною строчкой, Ластов отвечал четверостишием:

*— Да, шкуру, только не натуру:
Как волку вольный лес и кровь,
Так мне поэзия, любовь,
Предмет любви необходимы.*

*— Ага! Так вы опять палимы
Любовной дурью? В добрый час.*

*— В тебе же, вижу я, угас
Священный жар огня былого?*

Наденька насмешливо взглянула на Ластова и приписала в ответ:

*— Какого? Повторите снова.
И кудревато, и темно.*

— Да, видно, так и быть должно,

*Что нам уж не понять друг дру-
га.*

*Хотя ты и лишишься друга —
Десяток новых под рукой.*

*Прощай, мой друг, Господь с то-
бой.*

Девушка со стороны, сверху очков, посмотре-
рела на учителя: не шутит ли он? Но он гля-
дел на нее зорко и строго, почти сурово. Она
склонилась на руку и, после небольшого раз-
думья, взялась опять за перо:

*— Зачем же? Разве в мире тесно?
А впереди что — неизвестно.*

*— Как? Что я слышу? Прежний
пыл
В твоей груди заговорил?*

Студентка, уже раскаявшаяся в своей опро-
метчивости, вспыхнула и, не стесняясь ни
рифмой, ни размером, черкнула живо, чуть
разборчиво:

*— Ты думаешь, что возбуждал во
мне
Какой-то глупый пыл? Как бы не
так!*

Ничто, никто на свете

*Не в состоянии воспламенить меня,
Всего же менее ты...*

Не успела она дописать последнюю строку, как Куницын, сидевший насупротив ее, перегнулся через стол и заглянул в ее писание.

— Эге, — смекнул он, — сердечный дуэт?

Наденька схватила лист в охапку, смяла его в комок и собиралась упрятать в карман. Ластов вовремя удержал ее руку, в воздухе, разжал ей пальцы и завладел заветным комком.

— Позволь заметить тебе, — обратился к нему Куницын, — что ты в высшей степени невежлив.

— Позволяю, потому что я в самом деле поступил невежливо. Но мне ничего более не оставалось.

— Лев Ильич отдайте! Ну, пожалуйста! — молила Наденька, безуспешно стараясь поймать в вышине руку похитителя.

— Не могу, Надежда Николаевна, мне следует узнать...

— Будьте друг, отдайте! Бога ради!

В голосе девушки прорывались слезы. Учитель взглянул на нее: очки затемняли ему ее глаза, но молодому человеку показалось, что длинные ресницы ее, неясно просвечивавшие сквозь синь очков, усиленно моргают. Он возвратил ей роковое стихотворение:

— На-те, Бог с вами.

Она мигом развернула лист, разгладила его, изорвала в мелкие лепестки и эти опустила в карман. Прежняя шаловливая улыбка зазмеилась на устах ее.

VI

— Вы не признаете ревности, Рахметов?

— В развитом человеке не следует быть ей. Это искаженное чувство, это фальшивое чувство, это гнусное чувство, это явление того порядка вещей, по которому я никому не даю носить мое белье, курить из моего мундштука.

Н. Чернышевский

— **В**ы, Лев Ильич, право, совсем одичаете, если станете хорониться за своими книгами. Не возражайте! Знаю. Вечный громоотвод у вас — диссертация. Что бы вам бросить некоторые частные уроки, от которых вам нет никакой выгоды? Тогда нашлось бы у вас время и на людей посмотреть, и себя показать.

— Да я, Надежда Николаевна, и без того даю одни прибыльные уроки.

— Да? Так полтинник за час, по-вашему, прибыльно?

— Вы говорите про Бредневу?

— А то про кого же? На извозчиков, я думаю, истратите более.

— Нет, я хожу пешком: от меня близко. Даю же я эти уроки не столько из-за выгоды их, как ради пользы; подруга ваша прилежна и не может найти себе другого учителя за такую низкую плату.

— Так я должна сказать вам вот что: заметили вы, как изменилась она с того времени, как вы учите ее?

— Да, она изменилась, но мне кажется, к лучшему?

— Гм, да, если кокетство считать качеством похвальным. Она пудрит себе нынче лицо, спрашивала у меня совета, как причесаться более к лицу; каждый день надевает чистые воротнички и рукавички...

— В этом я еще ничего дурного не вижу. Опрятность никогда не мешает.

— Положим, что так. Но... надо знать и побудительны причины такой опрятности!

— А какие же они у Авдотьи Петровны?

— Ей хочется приглядеться вам, вот что!

— Ну, так что ж? — улыбнулся Ластов.

— Как что ж? Вы ведь не женитесь на ней?

— Нет.

— А возбуждаете в ней животную природу, влюбляете ее в себя; вот что дурно.

— Чем дурно? С тем большим, значит, рвением будет заниматься, тем большую приятность будет находить в занятиях.

— А, так вы обрадовались, что нашлась наконец женщина, которая влюбилась в вас? Вот и Мари также равнодушна к вам. Прыгайте, ликуйте!

— А вы, Надежда Николаевна, когда в последний раз виделись с Чекмаревым?

Наденька покраснела и с ожесточением принялась кусать губу.

— Он, по крайней мере, чаще вашего ходит к нам, и я... и я без ума от него. Вот вам!

— Поздравляю. Стало быть, моя партия проиграна и мне не к чему уже являться к вам?

— И не являйтесь, не нужно!

— Как прикажете.

Куницын, вслушивавшийся в препирания молодых людей, которые вначале происходили вполголоса, потом делались все оживленнее, разразился хохотом и подразнил студентку

пальцем.

— А, ай, Nadine, ай, ай, ай!

— Что такое?

— Ну, можно ли так ревновать? Ведь он еще птица вольная: куда хочет, туда и летит.

Наденька зарделась до ушей.

— Да кто же ревнует?

— На воре и шапка горит! Пора бы вам знать, что ревность — бессмысленна, что ревность — абсурд.

Тут приключилось небольшое обстоятельство, показавшее, что и нашему насмешнику не было чуждо чувство ревности.

Моничка как-то ненароком опустила свою руку на колени, прикрытые тяжеловесною скатертью стола. Вслед затем под тою же скатертью быстро исчезла рука Диоскурова, и в следующее мгновение лицо молодой дамы покраснело, побагровело.

— Оставьте, я вам говорю... — с сердцем шепнула она подземному стратегу, беспокойно вертясь на кресле.

Он, с невиннейшим видом, вполголоса перечитывал нерифмованную строчку на лежащем перед ним стихотворном листе.

— М-г Диоскуров! Я вас, право, ущипну.

— Eh, parbleu, mon cher, que faites vous la, sous la table [22]? — с неудовольствием отнесся к доблестному сыну Марса супруг, слышавший последнюю угрозу жены, вырвавшуюся против ее воли несколько громче.

— Ничего, решительно ничего, — развязно рассмеялся тот, — случайно прикоснулся под столом к руке m-me Куницыной...

— Покорнейше прошу вперед не позволять себе подобных случайностей!

— Ай, ай, ай, Куницын, ай, ай! — подтрунила теперь над разревнованным мужем, в свою очередь, Наденька.

— Что такое?

— Ведь ревность — абсурд?

— М-да... — замялся он. — Я только погорячился, я уверен в Моничке.

— Ты напрасно стыдишься своей ревности, — заметил Ластов. — Муж, не ревнующий жены, уже не любит ее.

— Послушай, ты начинаешь говорить дерзости...

— Я сужу по себе. Если б я женился по любви (а иначе я не женюсь), то все свои помыс-

лы направил бы к тому, чтобы привязать к себе жену так же сердечно, как любил бы ее сам. И жили бы мы с нею душа в душу, как одно нераздельное целое, так как только муж и жена вместе составляют целого человека; холостяк — существо половинное, ни рыба, ни мясо, вечный жид, не знающий, где преклонить свою голову. Ворвись теперь в цветущий рай нашей супружеской жизни хищным зверем постороннее лицо, — ужели дозволить ему безнаказанно оторвать от моего сердца лучший цвет его, жизнь от жизни моей? Уже ли даже не ревновать? Я, по крайней мере, ревновал бы, до последней капли крови отстаивал бы дорогое мне существо, отдавшееся мне всецело, расточившее мне сокровеннейшие порывы своего молодого, девственного чувства. В противном случае я показал бы только, что сам недостоеин его, что никогда не любил его.

— Ух, какие звонкие фразы о столь простом физиологическом процессе, как любовь! — перебил Диоскуров. — Взять бы только да в стихи переложить. Ну, да, допустим, что ревновать еще можно, когда лицо, при-

ударившее за вашей женою, вам вовсе не знакомо; но если то ваш закадычный друг — отчего бы не поделиться с добрым человеком? Для милого друга и сережку из ушка.

Ластов оглянул офицера недоверчивым взором.

— Да вы это серьезно говорите? Обдумали ли вы ваши слова? Поделиться расположением любимой женщины? Да она-то, эта женщина, бревно, по-вашему, что ли? Вы думаете, сердце женщины сшито из разноцветных лоскутков, которые она, по желанию, может раздавать направо и налево? Хороши должны быть и мужчины, что довольствуются такими клочками чувств!

— Профессор, профессор! — воскликнула нетерпеливо Наденька, сгребая со всего стола из-под рук пишущих стихотворные листы и со своею рагием избалованного дитяти рассыпая их по полу. — Не хотите писать, так вот же вам! Куницын, сыграйте Пвасю, да так быстро, как только можете.

— Но ведь вы не танцуете?

— Пожалуйста, «не смей свое суждение иметь!» Делайте, что приказывают.

Куницын, не прекословя, направился к роялю, и но залу загредел ІІвасіо. Наденька обхватила за талью Пробкіну и вихрем закружилась с нею по лоснящемуся паркету. Діоскуров с Моничкой последовали их примеру. В течение всего остального вечера студентка не сказала с учителем ни слова. Только при уходе, когда обе гостыи, прощобетав в передней, по обыкновению наших дам, с добрых четверть часа, скрылись за дверью в сопровождении своих кавалеров, и когда Ластов, дав им дорогу, хотел последовать за ними, Наденька не утерпела и позвала его назад:

— Лев Ільич! Оп обернулся.

— Так, по условию, до будущего месяца? — спросила она его притворно-холодно.

— Все-таки?

Она опустила ресницы.

— Все-таки...

— Благодарю вас. Мое почтение.

Еще раз поклонившись, он вышел на лестницу.

VII

*Я его схватила,
Я его держала
За руки, за платье —
Все не отпускала.
Н.Огарев*

*Ах, какой пассаж!
Н.Гоголь*

Швейцарка, подававшая господам в передней верхнее платье, жадно засматривалась в глаза учителю. Но он, погруженный в раздумье, наклонил молча плечи, чтобы она удобнее могла накинуть на него шинель, и не удостоил девушку взгляда.

Затем она выскочила за ним на освещенную газом лестницу; не замечая ее, он стал спускаться по ступеням.

Вдруг до слуха его долетел сверху тихий плач. Он оглянулся: опустив лицо на руки, которыми она ухватилась за ручку двери, чувствительная швейцарка всем телом судорожно вздрагивала и тихонько всхлипывала.

— Это что такое? — промолвил молодой

человек и поднялся опять на площадку.

Девушка опустила голову еще ниже и зарыдала стремительнее и глуше. Обхватив ее полный, ловко стянутый стан осторожной рукою, Ластов другою приподнял ее личико за подбородок.

— О чем, любезная Мари?

— Еще спрашивает... — в слезах прошептала она, делая слабые усилия вывернуться из его объятия.

Лицо учителя омрачилось.

— Так вот что! Мари, вы, собственно, для меня приехали сюда?

— А то для кого же!

— Бессердечный я... И не сообразил. Бедная моя, хорошая! А я был уверен, что ты меня забудешь.

Разжалобившись, он поцеловал красавицу в пробор и погладил ее по волосам.

— Ну да... так вас и забудешь...

— Но как же ты решилась?..

— Приехать-то к вам?

— Да?

— А что ж мне оставалось? После вашего отъезда из Интерлакена я серьезно заболела

и целый месяц прохворала. Оправившись, я положила выгнать вас из сердца: «Что любить-то? Ведь он любит другую. Нет, забуду ж его!» Говоришь себе, говоришь, а самой, как к стене горох! Вынесешь, бывало, в столовую пансионерам кофе, невольно взглянешь всякий раз на стул, где сидел бесценный; нет, там сидит другой, чужой! И прислушиваешься: не стукнет ли дверь, не войдет ли он... Уж чего я не делала, чтобы рассеяться: и на вечеринки ходила, и в Берн выпросилась, в театр... Ничего не берет: чем дальше, тем все горше. Тут настала осень, пансионеры разъехались, пришло время глухое, нескончаемо скучное... Не знаю уж, как я прожила зиму, весну и лето. Тут стало совсем не вмоготу. «Будь, думаю, что будет». Разузнала, где живет здесь знакомый мне кондитер — и была такова...

— Но чего ж ты ожидала здесь?

— Чего ожидала? Я говорила себе: «Ведь, может, он все-таки любит тебя? Немножко, крошечку? Или нет, хоть не любит, но будет терпеть тебя около себя; и будешь ты служить ему, как последняя раба, со взгляда угадывать

его желанья и в награду за все твои старания — видеть его, слышать его...»

Читатель! Нет сомнения, что и вы когда-нибудь питали к кому бы то ни было ту сладостную, трепетную, безотчетную симпатию, что именуется любовью? Ну, да хоть искру ее, быть может, даже заваянную уж пылью и мусором вседневной прозы? Представьте же себе, что это, однажды вам столь дорогое существо, привлеченное из-за тридцать девять земель вашим же магнетизмом, восстало бы перед вами внезапно в прежнем виде, цветущим, прекрасным, полным прежней безграничной к вам преданности, растроганным, в горячих слезах о вашей забывчивости, — ответите ли вы за свое сердце, что оно не забилося бы сильнее, что в нем не вспыхнула бы былая божественная искра?

Ластов находился именно в таком положении: он держал у своей груди еще недавно милую ему девушку, он поневоле (чтобы не дать ей упасть) прижимал к себе ее пышное девственное тело, пылающее, дрожащее; он слышал ее усиленное, прерывистое дыхание, глядел ей в прелестное, молодое личико, в за-

плаканные, умоляющие очи... В нем загорелась прежняя искра!

— Черт знает что такое! — пробормотал он, то краснея, то бледнея, и бессознательно опустил обхватывавшие швейцарку руки; потом закрыл глаза и в изнеможении прислонился к стене.

Мари приподняла голову, взглянула и переполошилась.

— Что с вами, г-н Ластов, вам дурно?

Схватив его руку в свои, она тревожно глядела ему в побледневшее, как смерть, лицо своими большими, смоляными глазами, полными блестящих слез. Он тряхнул кудрями, провел рукою по лицу и принудил себя к улыбке.

— Так... слабость минутная.

— Вам жаль меня? Милый, добрый, сердечный мой, вы жалеете меня?

Она с горячностью приложилась к его руке. Он не утерпел и крепко обнял ее.

— Чудная ты, право, девушка! Для меня ты оставила свою солнечную, вольную родину, для меня предприняла этот трудный путь на дальний, холодный север, который вам там,

на юге, должен представляться еще суровее, неприютнее! Кажется, ты в самом деле очень любишь меня.

— Я-то люблю ли? О, Господи! Да кабы вы любили меня хоть на сотую долю того, как я вас...

— Что тогда?

— Ах! Так вы меня все ж таки немножечко любите? Скажите, что любите, пожалуйста!

— Сказать? — печально улыбнулся Ластов. — Изволь... Но нет, все это вздор! — прервал он себя. — Тут не должно быть, значит, и не может быть любви. Старайся забыть меня, любезная Мари, прощай, прощай...

Он оторвался от нее, на лету пожал ей руку и занес уже ногу, чтобы спуститься по лестнице. Тут заговорила в нем совесть, он вернулся к ней. Пораженная его последней, вовсе неожиданной выходкой, она так и остолбенела с раскрытыми устами, с неподвижным, помутившимся взором. Он взял ее за руку.

— Милая моя, не убивайся, брось ты это из головы, перемелется — все мука будет. Но ты в Петербурге совершенно одна, без родных,

без друзей; если окажется тебе в чем надобность, то обратись ко мне: вот тебе мое местожительство.

Он суетливо достал из кармана бумажник и вынул визитную карточку. Девушка машинально приняла ее.

— Да на что мне она? Теперь уже все равно. Возьмите ее назад.

— Прош тебя, оставь у себя — хоть для меня, для успокоения моей совести.

— Пожалуй, для вас. Но напоследок, г-н Ластов, ответьте мне на один вопрос: вы втайне не помолвлены с фрейлейн Липецкой?

— Нет, далеко до того.

— Хоть и за то спасибо. Теперь ступайте себе, я вас не удерживаю. Я вижу, вам не терпится, как бы скорее только отделаться от меня. Бог с вами!

— Прощай, моя дорогая. Не серчай на меня.

Он склонился к девушке, чтобы в последний раз поцеловать ее. Она послушно подняла к нему заплаканное личико и крепко охватила его шею...

В это самое мгновение распахнулась дверь Липецких, и на пороге показалась Наденька.

— Wo stecken Sie denn, Marie [23]?

Но взорам ее представилась живая группа, и студентка обмерла от удивленья и негодованья.

— Sieh da? Bravissimo, da capo [24]!

Эффект был самый театральный: из уст обоих артистов, представлявших живую картину, вылетели одновременно непередаваемые междометия: что-то среднее между а, о, у, э и прочими гласными алфавита. Ластов, как преследуемый дезертир, был в два прыжка на следующей площадке и скрылся за поворотом лестницы. Соперницы молча наблюдали друг друга; Мари безбоязненно вынесла сверкающий необузданным гневом взор молодой госпожи. Когда внизу за беглецом стукнула стеклянная дверь, студентка с жестом, достойным королевы, пригласила служанку последовать за нею:

— Also so steht's? Nur herein [25]!

Мари собиралась возразить, но одумалась и, смиренно понунив голову, вошла в квартиру следом за нашей героиней.

VIII

Любовь — огонь, с огня — пожар.
А. Кольцов

Несколько дней спустя после вышеописанного «пассажа», в вечерних сумерках Ластов воротился домой с частного урока. Войдя в первую из двух занимаемых им комнат, служившую одновременно кабинетом, гостиной и столовой, он отыскал на столе спичечницу и зажег свечу. Комната осветилась и представила следующее: между двумя окнами стоял капитальный стол с письменными принадлежностями, шахматной доской, микроскопом, симметрично расставленными статуэтками; над столом незатейливое зеркальце; перед столом деревянное кресло, в ногах ковер; по одной стене громадных размеров книжный шкаф, сквозь стекло которого виднелись в простых, но опрятных переплетах книги, расставленные — сказать мимоходом — в значительно большем порядке, чем в библиотеке Бредневой; по другой стене нескончаемый, удобный диван, осеняемый

рядом масляных картин: средняя, наибольшая, была весьма изрядная копия с тициановой Венеры; по сторонами четыре меньшие представляли заграничные виды: Интерлакен со снежною Юнгфрау, шафгаузенский водопад, лев св. Марка в Венеции, Неаполь с моря. Стена против окон была занята изразцового печью и дверью в спальню.

Остановившись на минуту, чтобы перевести дух и отереть потный лоб, учитель принялся за переодеванье: облепив шею от ярма галстука, он сюртук и сапоги заменил легкой визиткой и гостинодворскими туфлями; потом, набив трубку и закулив ее, взял со стола новый номер газеты, поставил свечу на круглый столик около дивана и растянулся на последнем. То щурясь и с остервенением вздувая кверху густые клубы дыма, то усмехаясь и пуская чисто-очерченные колечки, он углубился всецело в руководящую статью.

Снаружи постучались тихонько в дверь.

— Войдите, — проговорил он, не отрывая глаз от чтенья.

В комнату глянуло сморщенное, добродушное лицо старушки-хозяйки.

— Лев Ильич?

— Что скажете, Анна Никитишна?

— Вас, кажись, спрашивают.

— Почему же «кажись»?

— Да по-немецкому, не разберешь.

— Попросите войти.

Место старой хозяйки в дверях заняла фигура молодой девушки.

— Мари! — вскрикнул Ластов и поспешно поднялся с дивана. — Вы какими судьбами? С порученьем от Липецких?

— Да... то есть нет...

Ластов с заботливым видом приблизился к неожиданной гостье, попросил ее в комнату и плотно притворил за нею дверь.

— Вы имеете что сообщить мне?

— Да-с... я... я...

Сделав два шага вперед, она остановилась в смущении, не зная, куда девать глаза и руки. Молодой человек подвел оробевшую к дивану и почти силою усадил ее; потом выдвинул у стола ящик, достал оттуда два туго набитых бумажных мешка, и содержание их высыпал на диван перед швейцаркой.

— Прошу не побрезгать; чем богат, тем и

рад.

Девушка мельком взглянула на предлагаемое угощение: перед нею аппетитно громоздились две горки лакомств: одна — французского изюма, другая — миндалю в шелухе.

— Studentenfutter [26], - объяснил молодой хозяин и, для поощрения гостя, сам первый взял пригоршню миндалю и принялся щелкать его.

Мари, еще не оправясь, ни к чему не прикасалась и шептала только:

— О, благодарю, благодарю...

— Но к делу, — сказал Ластов. — Что, собственно, привело вас ко мне?

— Вы дали мне свой адрес...

— Ну-с?

— С тем, что ежели я... ежели со мною что приключится...

Ластов перестал жевать.

— Вам не было житья у господ? Фрейлейн Липецкая выжила вас?

— Да! — подтвердила с живостью Мари, обрадованная, что покровитель так хорошо понял ее. — После того памятного вечера я просто не знала, куда деться. Не то, чтобы фрей-

лейн Липецкая жаловалась на меня родителям, о нет! Но она обходилась со мною с таким пренебреженьем, с таким... не знаю, право, как сказать... Да не могла же я и служить девушке, которая так же безумно влюблена в вас... Я потребовала паспорт, связала в узел свое имущество, взяла извозчика и поехала по адресу.

— Как? Так извозчик еще дожидается вас?

— Да, у него я оставила узел. Ластов встал и вышел в прихожую.

— Анна Никитишна!

— Чего изволите? — отозвалась из-за перегородки хозяйка.

— Сбегайте-ка вниз...

Хотя он говорил по-русски, Мари поняла его:

— Ах, г-н Ластов, вы насчет моих вещей?

— Да.

— Так что ж вы других беспокоите? Я сама.

И она уже скрылась в выходных дверях. Мину-ту-две спустя она вернулась назад, вся впопыхах, с грузною связкой, которую опустила на пол у дверей.

— Ну, и прекрасно, — говорил Ластов, про-

хаживаясь взад и вперед по кабинету. — Сядьте, пожалуйста, не стесняйтесь, я похожу.

Мари робко присела на край дивана.

— Вот я раздумываю, — продолжал Ластов, — кому бы отрекомендовать вас? Как назло, не знаю теперь никого, кому требовалась бы служанка. Не можете ли вы пристроиться снова у вашего энгадинца?

— Нет, он нанял уже другую на место меня. Г-н Ластов, — осмелилась девушка подать собственное мнение, — отчего бы вам не отпустить вашу кухарку? Я отлично заменила бы ее. Кушанья готовить я умею, могу сказать без хвастовства, на кухне в отеле нашей брала нарочно уроки. Комнату убирать знаю и подавно. Право, вы останетесь довольны мною!

— Милая, — вздохнул Ластов, — у меня нет кухарки. Дама, которую вы видели в прихожей, моя квартирная хозяйка, вдова-мещанка, у которой я снимаю эти две комнаты; обедаю же я в кухмистерской, по пути из должности.

Мари отвернулась и заморгала; за пушистыми ресницами ее закипали слезы.

— Что же мне делить? А я так надеялась...

Она пышным белым рукавом своим отерла глаза.

— Перестаньте, Мари, — сказал, остановившись перед нею, Ластов, — не печальтесь. Сколько будет в моей власти, я помогу вам. Вы наймете себе комнатку, светленькую, прехорошенькую, займетесь шитьем что ли и станете дожидать у моря погоды. Я тем временем обойду всех знакомых, переспрошу сослуживцев, не требуется ли им отличнейшая горничная, напечатаю в газетах...

— Г-н Ластов... — прервала его швейцарка и, потупившись, смолкла.

— Что вы хотели сказать?

— Ах, нет, нет...

— Не бойтесь, говорите.

— У вас здесь две комнаты?

— Две, или, вернее, полторы: эта да вон спальня, которая вдвое меньше.

— Если вы уже так снисходительны, что хотите оказать помощь бедной девушке, то к чему вам входить еще в лишние расходы? Покуда не сыщется для меня подходящего места, я могла бы пробыть у вас?.. Ластов нетерпели-

во повел плечом.

— Да нет, вы не опасайтесь, что я стесню вас! — поспешила она успокоить его. — Вы даже не заметите моего присутствия: я устроюсь в прихожей, спать буду на полу, а при вас и входить сюда не стану. Как же зато будет у вас здесь все чисто, светло — что твое зеркало! Ни пылинки не останется. Понадобится ли вам зачем в лавку, письмо ли снести — я всегда под рукой, лучше родной матери буду ходить за вами. Ах, г-н Ластов, оставьте меня у себя? Вам же лучше будет!

Учитель угрюмо покачал головою.

— Нет, Мари, вы знаете, что может выйти из такого близкого сожития молодого мужчины и молодой женщины, особенно если они еще равнодушны друг к другу. Конец всегда один, весьма неутешительный, и именно для вас, женщин.

Девушка сложила с мольбой руки.

— Да чего же вам наконец от меня?.. О, Боже мой! — залилась она вдруг слезами. — Он только представлялся, он ни капельки не любит меня! Куда я денусь, где преклоню свою бедную, одинокую головушку? Нет, вон отсю-

да, куда-нибудь...

Эксцентричная швейцарка бросилась к выходу, схватила с полу узел и собиралась выбежать опрометью за дверь.

— Мари! — воскликнул Ластов. — Что ты? Куда ж ты пойдешь? Положи вещи!

Девушка послушно опустила узел на пол.

— Подойди сюда! Она подошла.

— Садись!

Она села. Он поместился рядом и взял ее за руку.

— Слушай меня внимательно. Жениться на тебе я не могу — хотя бы уже потому, что ты иностранка, а я женюсь не иначе, как на русской.

— Я это очень хорошо понимаю... Где же мне, простой, необразованной девушке?.. Да ведь я на это никогда и не рассчитывала. Одно было у меня на уме: что я люблю вас, люблю как жизнь, более жизни своей, что без вас мне и быть нельзя. Не убивайте же меня своим небреженьем, Бога ради, голубчик вы мой! Помилосердствуйте...

Она скатилась на пол, на колени и припала лицом к дивану. Ластов хмурился, откаш-

ливался, закусывал до крови губу.

— Нет, Мари, этому не бывать, этого нельзя. Он выглянул в окно.

— На дворе совершенно стемнело, квартиры тебе сегодня уже не приискать. Эту ночь ты можешь провести здесь, на диване; за безопасность твою и охранность я ручаюсь своей честью; ты будешь как в отчем доме. Завтра же мы отправимся вместе на поиски квартиры.

Мари не осмелилась возражать. Покровитель ее вышел в переднюю.

— Анна Никитишна, поставьте-ка самовар, да в булочную сходите.

— А хлеба на двоих?

— Да, барышня проведет у нас и ночь, вы постелите ей потом в кабинете.

Старушка и рот раскрыла, не зная, верить ли своими ушам. Жилец уже вошел к себе.

— Чем бы позанять тебя? — говорил он приунывшей гостье, оглядываясь в комнате. Взоры его остановились на пейзаже, представлявшем Интерлакен. — Да! Вот полюбуйся.

Он взял свечу и осветил картину.

— Узнаешь?

— А, наш городок! — радостно воскликнула Мари, вскакивая с дивана. — Наша чудная Юнгфрау, а тут и отель R... Да это кто ж такое, под деревом? Слово я?

— Ты и есть. Значит, схоже?

— Как же не схоже! Такая же круглая... Но как, скажите, я попала сюда?

— Очень просто: я набросал твою фигуру, черты твои в альбом; знакомый мне художник списал тебя, по моей просьбе, с эскиза на картину.

Светлая надежда загорелась в глубоких, темных глазах девушки.

— Так вы меня все же когда-нибудь да любили?

— Теперь веришь?

Он хотел отчески поцеловать ее в лоб; но она глядела на него таким полным взором, с такой сердечною благодарностью и нежностью, что его передернуло, и он не исполнил своего намерения. Присев на корточки перед столом, он выдвинул ящик и достал оттуда пачку тетрадей.

— Мне время заняться, — сказал он, — так

вот тебе от скуки несколько альбомов, тут всякие виды: прирейнские, неапольские, есть и ваши швейцарские.

Мари положила тетради себе на колени и, как по заказу, с тупым равнодушием стала перелистывать их. Ластов засветил другую свечу, взял со стола какую-то книгу, карандаш и расположился в противоположном углу дивана. Напрасно поднимала на него молодая девушка свои большие, томные очи, — он, казалось, забыл даже о присутствии ее, по временам делал карандашом пометки на полях книги, потом весь погружался опять в содержание ее.

Анна Никитишна внесла самовар и чайные принадлежности. Мари тихонько встала, тихонько подошла к читающему.

— Виновата, г-н Ластов, я отвлеку вас на секунду. Он очнулся.

— Да? А что вам угодно?

— Позвольте похозяйничать? Пожалуйста! Я буду воображать, что мы опять в Интерлакене.

— Если это развлечет вас, — улыбнулся Ластов, — то сделайте ваше одолжение.

— Благодарю вас.

Швейцарка тщательно разгладила скатерть, заварила чай, аккуратно и аппетитно разложила французские сухари и крендели, принесенные из булочной, в хлебной корзине, привычною рукою нарезала два тонких, как лист, ломтика лимона, потом разлила по стаканам чай (и для нее был подан стакан), причем Ластову положила сахару четыре крупных куска.

— Пожалуйте! — с робкой развязностью пригласила она хозяина.

— Какая вы сладкая! — поморщился он, отведав ложкою чаю.

— Да ведь вы любите сладко? Намазывали себе еще на бутерброд всегда в палец меду.

— А вы разве помните?

— Еще бы! А на землянику всякий раз насыпали с полфунта сахару. Мадам, бывало, придет в кухню, только рукой махнет: «Уж этот мне русский: десяток таких пансионеров — и вконец разоришься».

— А я, в самом деле, большой охотник до земляники, — весело заметил учитель.

— Я думаю! Нарочно поставишь всегда

полное блюдо против вашего прибора. Наложите одну тарелку, съедите; потом вторую — также съедите; наконец и третью!

Молодые люди переглянулись и рассмеялись.

Чай был отпит и убран. Мари и тут по мере сил помогала хозяйке, которая, однако, с явною неприязнью принимала ее услужливость. Среди разговоров, прерывавшихся со стороны швейцарки то смехом, то вздохами, пробило одиннадцать. Хмурая, как ноябрьский день, явилась Анна Никитишна приготовить ночное ложе госте. Ластов взял свечу и книгу и направился к спальне.

— Вы, может быть, желаете также прочесть что на сон грядущий? — обратился он в дверях к Мари. — Так вон там в шкафу есть и немецкие авторы.

Кивнув ей головой, он вышел в опочивальню.

Полчаса уже лежал он в постели с книгою в руках, но держал он книжку как-то неловко: как живая, покачивалась она то вправо, то влево. Прочтя страницу, он тут же принимался за нее снова, потому что не удерживал в

памяти ни словечка из прочтенного. Ухо его к чему-то прислушивалось: на стене, в бархатном, бисером обшитом башмачке внятно тикали карманные часы; в соседней комнате двинули стулом. Вот зашелестели женские платья: швейцарка, видно, раздевалась; потом опять все стихло. «Тик-тик-тик!» — лепетали часы. Ластов достал их из башмачка; они показывали без четверти двенадцать. Опустив их в хранилище, он с какими-то ожесточением принялся за ту же страницу в четвертый или пятый раз. Проделав и на этот раз прежнюю бесполезную операцию машинального чтения глазами, без всякого соучастия мозга, он с сердцем захлопнул книгу, положил ее на стол и загасил огонь. Затем, плотно завернувшись в одеяло, сомкнул глаза, с твердым намерением ни о чем не думать и заснуть.

Вдруг почудилось ему, что кто-то плачет. Он прислушался.

— Мари, это вы?

Плач донесся явственнее.

— Этого недоставало! — прошептал молодой человек, нехотя приподнялся, въехал в

туфли, накинул на плечи одеяло. Тьма в спальне была египетская, хоть глаз выколи. Топографию своего жилища, однако, учитель знал хорошо: ощупал ручку двери и вошел в кабинет. Здесь мрак стоял еще чуть ли не гуще. Со стороны дивана слышались подавленные вздохи. Ластов подошел к изголовью девушки.

— Перестань, Мари, прошу тебя. Слезы не помогут.

— Охо-хо! Доля ли ты моя горемычная! Никому-то я не нужна, никем-то не любима! Бедная я, бесталанная!

— Не говори этого, любезная Мари: я первый принимаю живое участие в судьбе твоей, но любить — любить не всегда можно, если бы даже и хотелось.

— Неправда, можно, всегда можно!

Она зарыла лицо в подушку, чтобы заглушить непрошенные рыдания. Ластов вздохнул и успокоительно положил руку на ее темя.

— Послушай, моя милая, что я тебе скажу...

— И слушать не хочу, молчи, молчи!

Неожиданно, с радостным воплем, вскакнула она с ложа, повлекла возлюбленного к себе и,

смеясь и плача, принялась неистово лобызать его. Самообладание молодого человека грозило изменить ему; сердце у него замерло, голова пошла кругом...

Но он преодолел себя, насильно оторвался, подошел, пошатываясь как пьяный, к столу, где стоял полный графин воды, и жадными губами приложился к источнику отрезвления. Свежая влага сделала свое дело: любовный хмель его испарился, голова прояснилась. Он опустил на стол графин, наполовину опорожненный. С дивана доносилось только отрывчатое, тяжелое дыхание. Он крепче завернулся в свою войлочную мантию и на цыпочках воротился в спальню. Здесь, плотно притворив дверь, он прилег опять на кровать и повернулся лицом к стене.

Вспомнилось ему испытанное средство от бессонницы: следует только представить себе яркую точку и не отводить от нее глаз. Силою воли он воспроизвел перед собою требуемую точку и зорко вглядывался в нее, чтобы ни о чем другом не думать. А шаловливая, непослушная точка ни за что не хотела устоять на одном месте: то уклонится вправо, то влево,

то юркнет в глубь стены, то вдруг, как муха, сядет ему как раз на кончик носа, так что экспериментатор поневоле отбросится назад головою. Однако ж средство оправдывало свою славу: не давало помышлять ни о чем ином.

Тут скрипнула дверь. Блестящая точка как в воду канула. Ластов оглянулся. В окружающем мраке ни зги не было видно, но тонким чутьем неуспокоившегося чувства он угадывал около себя живое существо, знакомое существо... Он хотел приподняться с изголовья; мягкие руки обвили его голову, пламенная щека приложилась к его щеке, пылающие молодые губы искали его губ...

— Милый ты, милый мой!..

IX

Смотря на любовь как на волнение крови, конечно, нельзя иметь строгого взгляда на семейную нравственность. Но корень всему злу французское воспитание.

Н. Добролюбов

Мари окончательно поселилась у Ластова. Как бы для примирения себя с выпавшим на его долю жребием, он расточал ей теперь всю нежность своего сердца, исполнял всякое выраженное ею желание: она была страстная охотница до цветов и птиц — он уставил все окна розами, камелиями, гортензиями, завел соловья; упомянула она как-то, что любит чернослив — он приносил ей что день лучшего, французского; одел, обул он ее заново.

Вместе с тем положил он себе задачей ознакомить швейцарку с русской литературой, с русским бытом. Вскормленная на сентиментальной школе Шиллера, Августа Лафонтена, Теодора Амадеуса Гофмана, на романтической — французских беллетристов, она была олицетворенный лиризм. Он начал

с самого близкого для нее — с наших лириков. Для предвкусия научил он ее несколькими задушевыми романсами Варламова, Гумилева, которые вскоре пришлись ей до того по нраву, что она то и дело распевала их, забыв на время даже мотивы дальней родины. Слух у нее был верный и голос, хотя небольшой, но свежий и необыкновенно симпатичный. Иногда только, шутки ради, она заключала русский куплет альпийским гортанным припевом:

*«Ждет косаточку
Белогрудую
В теплом гнездышке
Ее парочка.
Diridi-duit-da, dui-da, dui-da, rii-da,
Dui-da, dui-da, ho! dirida».*

Перевел он ей также на немецкий язык (стихами) несколько пьесок Кольцова, Майкова, которые она не замедлила заучить наизусть. Завербовав таким образом ее чувство в пользу изучения чуждого ей языка, он занялся с нею нашей азбукой.

Желая выказать перед милым способности свои в лучшем свете, Мари взялась за учение

с горячностью и самоотвержением истинно любящей женщины. Алфавит ей дался в один день. Затем началось чтение. Главным камнем преткновения было для нее произношение некоторых букв: л, и и шипящих; но тут пришелся ей кстати твердый выговор детей Альп. Сколько шуток, сколько смеху! В несколько дней она достигла того, что могла читать по-русски довольно сносно, хотя, конечно, с неподдельным иностранным акцентом.

— Ну, Машенька, — сказал ей Ластов, — теперь только твоя добрая воля научиться и понимать читаемое. Я слишком занят, чтобы продолжать с тобою учение шаг за шагом. Вот тебе прекрасная книжка: «Герой нашего времени», вот тебе Рейф. Я сам выучился этим способом французскому языку. Если чего не поймешь — не стесняйся, спрашивай.

Скрепя сердце, девушка принялась за сухую работу приискивания отдельных слов по словарю. Но, одолев половину «Бэлы», она уже реже обращалась к нему; живой, пленительный рассказ положительно завлек ее; описываемая автором столь яркими красками

ми романтическая природа Кавказа живо напомнила ей родную, швейцарскую: она не давала себе даже времени отыскивать всякое непонятное слово — был бы понятен лишь общий смысл рассказа.

А тут, на подмогу к Ластову, подвернулась еще старушка-хозяйка. Приняла она вначале свою новую жилищу далеко неблагосклонно. Она сочла ее обыкновенной лореткой из остзейских немок известного петербургского покроя. Как же приятно было ее разуверение, когда, вместо ожидаемого нахальства и банальной фамильярности, она встретила в ней всегдашнюю готовность помочь и услужить, непривычную для нее, простой мещанки, тонкость и деликатность обращения и почти детскую застенчивость и стыдливость, когда она, хозяйка, заставляла ее, Мари, целующеюся с Ластовым.

В отсутствие учителя, да иногда и при нем Мари стала проводить свое время с Анной Никитишной, и болтовня у них не прерывалась. Любезный Рейф, как само собою разумеется, служил им неизменным толмачом. Вспомнила старуха, что покойный муженек

ее (царствие ему небесное!) читал ей как-то чудесную историю: «Юрий Мирославский», «Милославский» — что ли. Попросила Мари своего милого добыть ей во что бы то ни стало хваленную историю. Принес он ей ее, и в кухне начались литературные чтения: Мари прочитывала вслух, Анна Никитишна поправляла ее. За «Милославским» последовали, уже по совету Ластова, сочинения Тургенева. Главных благоприятных следствий от этих чтений было три: первое, что хозяйка исполнялась все большей приязни и привязанности к услужливой, негорделивой, разговорчивой жилище; второе, что швейцарка делала в русском языке удивительные успехи; третье, наконец, что открылась обильная тема для бесед между нашими голубками: разбор характеров героев прочтенных романов, объяснение разных черт и обычаев нашего народа; тогда как без этого для них оставалось бы одно лишь поле, на котором они могли понимать друг друга, — поле чувства, а оно, как всякое кондитерское произведение, употребляемое в избытке, должно было бы когда-нибудь приестся.

Так возникла между ними, рядом с сердечной симпатией, и симпатия духовная, которую Ластов в часы досуга питал и развивал задумчивыми разговорами о предметах, «вызывающих на размышление», то есть научных и общественных.

«L'appetit vient en mangent [27], — говорит французская пословица. Не менее справедливо можно было бы сказать, что «l'amour vient en aimant [28]. Постоянно заботясь о предмете своей произвольной любви, Ластов, сам того не замечая, все более и более привязывался к нему. Пробным камнем этой привязанности послужили два визита, сделанные ему в начале лета.

Первым визитантом был знакомец наш Куницын. Не дав Анне Никитишне времени отомкнуть порядком дверь, он буйно ворвался в прихожую, чуть не сбив при этом с ног старушку:

— Вам кого? — остановила она его, поправляя на голове чепец.

— Если позволите, не вас, старая мегера! — желчно пробурчал он в ответ, с силою швыряя с ног непослушную калошу, которая, уда-

рившись об стену, кувырнулась, как жонглер, в воздухе и потом уже улеглась на полу подошвою кверху.

— Да их нет дома, — обиделась почтенная женщина. — Заходите опосля.

— Когда ж он возвращается?

— А как придется: когда в три, а когда и к вечеру, в полночь.

— Так я обожду.

Он стал скидывать пальто. Старушка оторопела.

— Да нет же, сударь, нельзя-с...

— Отчего это?

— Я не знаю, можно ли... Повремените чуточку... Она с осторожностью отворила кабинетную дверь и проворно юркнула в нее. Там сидела за шитьем одна Мари; Ластова не было дома.

— Марья Степановна, матушка моя, уберите живее!

— Куда? Зачем? — спросила та, глядя на нее большими глазами.

— Да вон туда, в спальню. Гость пришел и хочет дожидаться Льва Ильича.

Тут в комнату вошел сам Куницын.

— Tiens, tiens, tiens [29]! — воскликнул он, узнав швейцарку. — Wo kommen Sie her, holde Scheme [30]? Мы с нею давнишние знакомые, — обратился он внушительно к хозяйке. — Будьте так добры испариться.

Старушка, бормоча, повиновалась. Как на угольях, стояла Мари перед неожиданным гостем, перебирая в смущении свой чистенький ситцевый передник.

— Herr von...? Я запомнила вашу фамилию.

— Куницын, — помог ей молодой фат, разваливаясь с некоторою театральностью на диване. — Это ужасно, эт-то ужасно!

— Что с вами, г. Куницын, вы вне себя? Он трагически взъерошил себе волосы.

— Успокойтесь. Не надо ли вам гребенки?

— Гребенки? Мари, о Мари! Было время, вы были без памяти влюблены в меня, вам, должно быть, известно, что я за человек — добрейший, великодушнейший!

— Вы очень ошибаетесь, сударь, если думаете, что внушали мне когла-либо какое-нибудь чувство.

— Что тут отговариваться? Заболели еще

не на живот, а на смерть, когда узнали о моем сватовстве на другой; cela saute aux yeux [31]. Но что вспоминать? Дела минувшие!

— Да если я вас уверяю... Наконец, вы видите, что я теперь у господина Ластова, следовательно... Я тогда по нем стосковалась.

— Эх я не догадался! — хлопнул себя по лбу Куницын. — Вы у него la maitresse... de la maison [32]? Молодец же он, ей-ей, молодец! Не ожидал я, признаться, от него. Всегда скромником таким, законником смотрит, воды не замутит. Ну, как у вас тут житье-бытье?

Говоря так, денди наш встал, поправил в глазу стеклышко и, с улыбочкой полулукавой, полунахальной, приблизился к девушке.

— Славное мяско, — сказал он, щипнув ее в полную, розовую щеку, — парное!

Мари, как полотно, побелела, непритворный гнев блеснул в ее глубоких черных глазах.

— Да как вы посмели, сударь...

— Как видите, посмел. Ха, ха!

— Но... но...

— Зарапортовались, ангел мой! А вы, ей-Богу, премилы, препикантны, когда сердит-

тесь: глазенки так и разбегаются, так и стреляют, как пара пистолетов; благо, заряжены холостым зарядом.

— Послушайте, г. Куницын...

— Что слушать-то? Путного, верно, ничего не скажете. Не взыщите за откровенность. Вот перед физикой вашей я преклоняюсь — покорнейший слуга! Губки — пресочные, настоящие морели. Позвольте удостовериться *de facto*.

Он ловко взял ее за талью. Но в то же мгновение комната огласилась звонкой пощечинной. Захваченный врасплох, хищник невольно выпустил из рук добычу.

— О-го-го! — заголосил он в неподдельной ярости. — *Une commune biche* [33]! Все, моя милая, имеет границы. Теперь я уже считаю своим священным долгом расцеловать вас, так расцеловать, как во сне вам не мерещилось, как Адонис ваш в жизнь не целовал вас!

С распростертой для объятия левой рукою, с приподнятым кулаком правой, подступил он к незащитной. Меняясь в лице, с решимостью сжав губки, схватилась она за стоявший на столе подсвечник. Неизвестно, чем бы

разыгралась эта сцена, если б не подоспел вовремя третий актер, в лице Ластова. В разгаре дела ни швейцарка, ни воинственный гость ее не слышали как позвонил он, как отворил дверь в комнату. В недоумении остановился он на пороге.

— Мари, Куницын, что вы тут затеваете?

— Лева, друг мой, выбрось этого негодяя! Он позволил себе со мною такие дерзости...

Молодой ловелас уже оправился. Непринужденно улыбаясь, он подошел к приятелю.

— Здравствуй, братец! Представь себе, как легко напугать их, этих женщин! В ожидании тебя, от нечего делать, я хотел испытать ее верность к тебе и сделал вид, будто хочу поцеловать ее, а она вообрази, что я и в самом деле собираюсь поцеловать. Ведь забавно? Ха, ха!

— Не верь ему, Лева, он уже схватил меня за талью, и если бы я...

— Ну, ну, замолчите, — перебил ее, вспыхнув, Куницын. — Каюсь, так и быть, что греша таить: хотел поцеловать. Но ты, Ластов, человек умный и, разумеется, не найдешь в этом ничего дурного. Ну, что такое один поцелуй в

сравнении с вечностью? Ein Mai ist kein Mai. Сам же ты целуешь ее, наверное, раз по сту в день.

Ластов не мог не улыбнуться наивному доводу приятеля.

— Ты забываешь, мой друг, что она жена моя.

— Гражданская!

— Какая бы там ни была. Заметь себе, пожалуйста, на будущее время: если хочешь оставаться со мною в прежних дружеских отношениях, то обходись с нею так же почти-тельно как со всеми «законными» женами твоего знакомства.

— Пожалуй! — иронически улыбнулся Куницын. — Для тебя только, по старой дружбе.

— И я надеюсь, что ты сейчас извинишься перед нею?

— Ну, уж на это не надейся, много чести.

— Так ты не намерен просить прощения?

— За кого ты меня принимаешь? Чтоб я, я унижался перед...

— Тс! Ни слова более. Сделай же милость оставить нас и вперед считать меня человеком тебе совершенно чужим. Не угодно ли?

Он широко распахнул перед приятелем выходную дверь. Тот посмотрел на учителя, посмотрел на его «гражданскую», потом глубокомысленно опустил взоры на кончики своих лаковых ботинок.

— Гм... да. En effet [34], ты как будто поступаешь благородно. Притвори-ка дверь; я согласен исполнить твое требование. Mein Fraulein... или gnadige Frau? Как прикажешь?

— Перед людьми она еще девушка; так так и величай.

— Bon. Also, gnadiges Fraulein, mir thut es ungeheuerlich, abscheulich leid, dass... und so weiter, und so weiter [35]. Довольно с тебя?

— Будет, хотя ты напрасно ломаешься. Присядем-ка теперь, расскажи-ка мне, что принесло тебя? Верно, что-нибудь экстренное, потому что, как человек, знающий до тонкости приличия света, ты не явишься же в гости еще засветло?

Первоначальная туча скорби и отчаяния мгновенно осенила чело щеголя: он вновь схватился за прическу.

— Malheur a moi [36]! oh! Сию минуту брошусь из окошка!

— Ай, только, пожалуйста, не у меня! В чем дело, скажи! Кредиторы что ли?

— *Pige que sa* [37]!

— Жена захворала?

— Добро бы только.

— А то что же?

— Да то, что убежала от меня! Понимаешь: взяла да убежала!

— Может ли быть! С кем же это?

— С кем, как не с этим прогрессистом-офицерчиком, с Диоскуровым. Я ли, кажется, не любил ее, не лелеял ее; ни одной ведь сторонней интрижки не завел с самого дня женитьбы, вот уже год с лишком; легко сказать!

— Действительно, на это потребовалось, вероятно, значительной доли самоотвержения. Как же ты, однако, допустил ее до побега?

— Допустил! У меня, брат, и подозрения серьезного не было. Как друг дома, он, понятно, бывал у нас и при мне, и без меня. Оказалось, что без меня-то они более все «Что делать?» изучали; ну, и порешили устроиться по предписанному там рецепту. Прихожу я это из должности, как агнец непорочный, ничего не

чая; приношу ей еще фунт конфетов, ее любимых — помадных; гляжу — укладывается. «Куда это? — говорю. — Точно в вояж?» — «В вояж, — говорит, — и еду. Навеки расстаюсь с тобою». Я, признаюсь, немножко опешил. «Как так навеки? Что это значит?» — «Это, — говорит, — значит, что ты надоел мне, что нам уже не к чему жить вместе, были бы только в тягость друг другу. Веселись и будь счастлив!» — «Да куда ж ты, к кому?» — «А к Диоскурову, — говорит. — Он — Кирсанов, ты — Лопухов, я — Вера Павловна». Меня как водою окатило. «Да ведь это все, — говорю, — хорошо в книжке, в действительности же неприменимо». — «Вот увидишь, — говорит, — как применимо. Я вообще, — говорит, — не вижу, чему тут удивляться: виновата ли я, что ты не умел разнообразить себя, что Диоскуров лучше тебя? Но я расстаюсь с тобою без всякой горечи в сердце». Утопающий хватается за соломинку. «Да что ж, — говорю, — станется с нашим сыном, с нашим Аркашей?» — «А Бог, — говорит, — с ним, оставь его себе. И там ведь он целый день у кормилицы, редко о нем и вспомнишь. Ну, и

у Чернышевского тоже о детях говорится только мимоходом, в скобках („следовательно, у нее есть сын“); c'est un mal inevitable [38]. У нас же с Диоскуровым наберется их, вероятно, более, чем нужно, и, во всяком случае, лучше твоего Аркаши». Меня взорвало. «А, говорю, теперь я только постиг вас! Знаете, сударыня, что французы называют une mere dehature'e[39]?» — «Знаю», говорит. «Так вы вот, ни дать, ни взять, такая mire dehature'e!»! Но можешь представить себе неделикатность? «А вы, — говорит, — сударь, знаете, что французы называют un sot, un imbecile [40]?» — «Ну, знаю». — «Так вы вот, ни дать, ни взять, и un sot, и ип imbecile, да помноженные на два». Каково?

Куницын вздохнул и отер со лба батистовым платком крупные капли пота.

— *Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно,* —

заметил Ластов. — Что ж ты отвечал ей на это?

— Что тут скажешь? Не браниться же, не драться. Вздохнул, да в глаза против воли на-

вернулось что-то мокрое. А она заметь да подыми еще на смех:

*Не плачь, красавица! Слезами
Кручине злой не пособить.
Господь обидел огурцами,
Зато капустой наградит!*

Тут уже я не стерпел, приосанился, как лев, и разразился потоком сарказмов; откуда слова брались. «Так вы так-с? — говорю, — так вы этак-с? — говорю. — Прекрасно-с, превосходно-с. Я вас не удерживаю, о нет. Я вас даже попрошу оставить сегодня же дом мой. Но чур — не возвращаться! Если бы вы впоследствии и испытали горькое раскаяние, на коленях приползли к моему порогу и, как Генрих IV в Каносе, облегали его трое суток подряд — наперед говорю вам, что дверь моя будет закрыта перед вами тремя замками. Слышите? Три замками! Роковая надпись ада встретит вас на моем доме: „Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate!“[41] В голосе моем звучало нечто возвышенное, потрясающее.

— И все твое красноречие пропало даром?

— Что даром! Совестно даже за нее...

— А что такое?

— Да, вместо всякого ответа, обозвала дураком и вышла вон. Только я ее и видел.

— Так... А тебе все же жаль ее?

— Как бы тебе сказать? Она мать моего сына; ну и вообще, что ни говори, женщина передовая, какую не скоро сыщешь. Что мне делать, посоветуй? Послать этому барину перчатку?

— А вы уже научились драться? — заметила тут с легкой насмешкой Мари, стоявшая до этого времени безмолвно у окна. — Или урок, который дал вам в Интерлакене друг ваш, не пошел вам впрок?

Куницына передернуло, но он сделал вид, будто не слышал слов девушки, и продолжал, обернувшись к Ластову:

— Скажи, как бы ты поступил на моем месте?

— Вызывать Диоскурова я, разумеется, не стал бы: дело зашло уже слишком далеко, ты же и потворствовал им; я потребовал бы только разводную.

— Ты чересчур строг, Лева, — вмешалась опять, но уже с серьезным тоном Мари. — Не слушайте его, г-н Куницын, кому, как не мне,

знать сердце женщины. Супруга ваша увлеклась — правда, но увлеклась по неопытности. Ужели пропадать ей за то навеки? Она еще раскается, поверьте мне, раскается. Отчего бы не простить? Она ведь еще молода, ребенок. Ей сколько лет?

— Восемнадцать.

— Ну, вот, припомните-ка себя самого в этом возрасте: каким вы были шалуном и повесой?

Черты несчастного супруга слегка прояснились. Он вопросительно взглянул на учителя.

— А ведь в словах ее есть крупица правды? Тот покачал головою.

— Оптимизм молодости. Разумеется, если ты найдешь в себе достаточно самоуничижения, чтобы помиловать заблудшую овцу, и если она сделается опять овцой, о тем лучше для вас обоих. Но боюсь я, чтобы не нажить тебе новых бед: зверь, отведавший свежей крови, неуголим; искусившись раз, она ненадолго стерпит однообразие счастливой семейной жизни.

— Лева, милый мой, ты жесток, ты зол!

Ведь их связывает не одна взаимная любовь, их связывает их дитя, неразрывное звено, которым они навеки веков сковались друг с другом. Г-н Куницын! Прошу вас: подумайте о будущности вашего малютки, который с пелен не будет знать заботливости, ласк матери. Ведь сердце его очерствеет! Пусть вы даже воспитаете из него человека умного, образованного; высшего человеческого достоинства — благородного, мягкого сердца вы не вложите в него: его может вложить только мать.

— Вишь, как расписывает, — проговорил Куницын, которого не на шутку стали принимать усовещевания швейцарки. — Чего ж вы от меня хотите, *petite drole* [42]?

— Чтобы вы в продолжение года не хлопотали о разводе.

— Гм, гм... Да если я и подам теперь прошение, разрешение выйдет не ранее, как через год, через два.

— Но тогда все узнают... Так же можно будет как-нибудь стушевать.

— И то правда. Вы, *m-lle Marie*, как я вижу, девушка с весьма здравым взглядом. Нужно

будет еще обдумать...

Когда затем Куницын стал уходить, то со всею галантностью молодого рыцаря расшаркался перед швейцаркой.

Х

*Еще работы в жизни много,
Работы честной и святой.*

Н. Добролюбов

Второе посещение, которого удостоился Лавров, удивило его еще более первого. Анна Никитишна с таинственностью вызвала его в переднюю. Он вышел туда в домашней визитке, без галстука.

Перед ним стояли Наденька и Бреднева.

— Ба, кого я вижу? — озадачился он. — Чему я обязан...

— Проходя мимо, — колко отвечала Наденька, — мы воспользовались случаем предупредить вас, чтобы вы не трудились более вон в ней.

Она указала на спутницу.

— Как? Вы, Авдотья Петровна, решились бросить свои занятия?

— Решилась бросить свои занятия, — повторила сухо Бреднева. — Я пришла к заключению, что поучилась у вас более, чем достаточно, и справлюсь на будущее время и без

вас.

— Жаль, очень жаль. За что ж такая немилость?

— Да хоть за вашу любезность, — сказала опять Наденька, — приходят к вам две молодые гости, а вы не пускаете их далее передней.

Тень облака пробежала по лицу учителя.

— Гм... — замялся он. — У меня там не убрано. Сейчас приведу в некоторый порядок и тогда милости просим...

Он проворно прошмыгнул в кабинетную дверь.

— Знаем мы, что у вас там не убрано, — сказала во след ему по-французски Наденька, — принцесса ваша не убрана. Можно бы в щель полюбопытствовать, да эта чучело-старушонка с места не сходит. — Вы, кажется, боитесь, что мы что стянем? — отнеслась она с усмешкой к Анне Никитишне.

Та не знала что и ответить.

— Да ты, Наденька, вполне уверена, что Куницын не солгал? — спросила Бреднева. — Хотя он и городской справочный листок, да ведь никто так и не привирает, как эти листки.

— Нет, он приводил такие подробности, каких не сочинишь.

Воротился Ластов.

— Прошу покорно, — сказал он, растворяя обе половины двери.

— Ну, что, убрали? — входя в кабинет и оглядываясь в нем, говорила Наденька. — Кажется, не совсем-то, — прибавила она, беря со стола женское рукоделье и рассматривая его со всех сторон. — Ничего, работа чистая. Вы сами этим упражняться изволите?

Учитель прикусил язык.

— Н-нет, хозяйка, видно, забыла.

— Хозяйка? Ха! Верю, верю.

— Да, хозяйка. Садитесь, пожалуйста.

Подруги чинно поместились на диване. Ластов взял с письменного стола ящик с сигаретами, другой с папиросами и предложил их барышням. Бреднева отказалась, Наденька закурила папиросу.

— Так чем же я восстановил вас против себя, Авдотья Петровна? — начал молодой хозяин, усаживаясь поблизости на стул.

— Ничем, — холодно отвечала ученица. — Кому лучше, как не вам, знать, какие делала я

у вас успехи? Не перебивайте! Вас я в этом ничуть не виню; вы были даже примерно снисходительны; но ведь и вы выходили подчас из себя. «Да что это, мол, с вами, Авдотья Петровна? Вы совсем невнимательны». Я невнимательна! Господи! Да слушая вас, я вопьюсь в вас глазами, точно проглотить хочу. Но что толку? Хоть убейте, ни словечка не пойму. Особенно теперь, как принялись за химию; словно туман какой нашел. Помните, например, самое первое — добывание кислорода из перекиси марганца?

— Да чего же проще?

— Вот то-то же! Для вас оно просто, а для меня непроходимые Фермопилы. Я очень хорошо знаю, что при нагревании из трех паев перекиси получается один пай закиси, один окиси и два кислорода. Но как знаю? Как попугай свое: «Попочка, почеси головку. Как собаки лают? Вау, вау!» Я не в состоянии дать себе отчета, почему оно так.

— То есть, почему собаки лают? — состригла Наденька.

— Ну да! Что виновата тут не наша женская умственная слабость, видно уже на На-

деньке, которая преодолела же все эти трудности; виновато во всем наше милое воспитание. Я, первая ученица гимназии, не могу понять самых элементарных вещей — хорошо, значит, развивали! Начинать же опять с азбуки у меня не хватает духу; приходится окончательно отказаться от научного поприща. Ведь вы знаете, что мне и в купеческой конторе дали абшид?

— Вот как?

— Да и формальный, что называется: *mit gross Scandal* [43]. В годовых итогах оказались недочеты в несколько тысяч. Распекли меня, конечно, на чем свет стоит, со стыда и сраму я готова была сквозь пол провалиться. За полмесяца имела еще жалованье получить, да уж ни за что не покажу глаз.

— Что ж вы намерены теперь делать?

— Да предаться практической деятельности. Я займусь английскими переводами, которые вы мне выхлопотали; дают мне по двадцати рублей за печатный лист; считая в неделю по одному листу, в месяц это составит восемьдесят целковых; заживем на славу! Маленька-то моя как довольна!

— А что ж ты не скажешь ничего про свою ассоциацию? — заметила Наденька. — Ведь она пошла в ход, там нечего уже секретничать.

— Как? — спросил Ластов. — Вы участвуете и в ассоциации? Я слышал, что здесь заводится социальная переплетная. Так, может быть, в ней?

— Нет, — отвечала Бреднева, — то предприятие частное, не приносящее очевидной пользы человечеству, да и исключительно механическое. Мое же самое гуманное и притом начатое по моей же альтернативе!

— Инициативе, хотите вы сказать?

— Ну да... Я основываю библиотеку на акциях. Уроками музыки сколотила я рубликов пятьдесят; пять человек товарищей брата также внесли каждый — кто пятнадцать, кто двадцать рублей; Наденька будет ежемесячно отдавать нам половину своих карманных денег — пятнадцать рублей... Мы уже завели два шкафа и целый ворох книг.

— А где она будет у вас, эта библиотека?

— Да в нашем же доме, как раз под нашей квартирой. Отдельная, знаете, большая ком-

ната. Мы дали и задаток.

— Но приняли ли вы в расчет, что библиотека будет слишком отдалена от центра города, чтобы привлекать посетителей?

— В том-то и штука, Лев Ильич, что она будет не обыкновенная библиотека, а народная, для бедного рабочего класса, проживающего именно в наших краях. В этом-то и вся польза ее. Пролетарии наши не в состоянии абонироваться у Вольфа, Исакова или выписывать газеты, журналы. А тут, за плату какой-нибудь копейки в день, они будут иметь возможность читать сколько душе угодно. Разве не выгодно?

— Да вам-то будет ли выгодно?

— Ха! Я не гонюсь за выгодой, окупилась бы только книги. Переводами я буду зарабатывать сумму, совершенно достаточную для нашего пропитания. Ах, Лев Ильич, если б вы знали, как я довольна! — воскликнула новая социалистка, и апатичные черты ее оживились, зарумянились. — Наконец-то я буду приносить пользу. Целый квартал, более — все окружные кварталы будут просвещаться, благодаря мне! Только и мерещится мне те-

перь одно: как я весь день свой буду проводить в читальне и в ожидании посетителей заниматься переводами. Дождаться не могу, когда вывеска будет готова!

— Жаль мне вас разочаровывать, — вздохнул Ластов, — но я сильно сомневаюсь в успехе вашего предприятия. Простолюдин наш не ощущает еще настолько потребности в чтении, чтобы ходить в нарочно строенное для того заведение. Я отсоветовал бы вам.

Бреднева не на шутку рассердилась.

— Так, по-вашему, выбросить шкафы да книги за окошко? Вырвать из сердца с корнем любимую мечту, которую я выхолила, вынянчила, как родное детище? Да что ж мне после того останется? Камень на шею да в море, где поглубже?

XI

*Ну, Господь с тобой, мой милый друг!
Я за твой обман не сержуся.
Хоть и женишься — раскаешься,
Ко мне, может быть, воротисься.
Л. Кольцов*

Наденька, тем временем внимательно осматривавшая кабинет, внезапно встала и, не говоря ни слова, быстро направилась к спальне. Ластов вскочил со стула и загородил ей дорогу.

— Куда вы, Надежда Николаевна?

— Меня очень интересуется ваша квартира, и я хочу обревизовать ее.

— Нет, извините, там моя спальня...

— Ну, так что ж?

— Девицам не годится входить в спальню молодого человека.

— Скажите, пожалуйста! А той целомудренной Диане, что уже спрятана у вас там, годилось войти?

Кровь хлынула в голову Ластова.

— Тише! Прошу вас. Пожалуй, расслышит.

— Ага! Признались. Я этого только и доби-

вас. Можете успокоиться.

Студентка воротилась на прежнее место.

— Помните ли вы, Лев Ильич, как, будучи в последний раз у нас, вы ратовали за святость брачных уз?

— Ну-с?

— А что сказать про проповедника, который не держится собственных правил?

— Я, кажется, ни одним поступком не изменил до сих пор своим принципам.

— Да? Ну, а если эта... женщина надоест вам, вы ведь воспользуетесь первым случаем, чтобы отделаться от нее?

Ластову разговор был заметно неприятен. Нетерпеливо потопывая ногою, он с суровостью посмотрел на говорящую.

— Вы ошибаетесь, — сказал он, — я никогда не расстанусь с нею.

— Что такое? — болезненно усмехнулась Наденька. — Вы хотите весь век свой сгубить на невоспитанную, необразованную горничную?!

— Люби кататься, люби и саночки возить, — иронически пояснила Бреднева,

— Именно, — подтвердил учитель. — Но

вы, Надежда Николаевна, назвали ее невоспитанной, необразованной горничной. Горничной была она — против этого, конечно, слова нельзя сказать, хотя я и не вижу еще ничего предосудительного, бесчестного в профессии горничной. По-моему, она даже куда почетнее профессии большей части наших русских барышень — профессии дармоедок. Что же до воспитанности, до образования особы, о которой у нас идет речь, то я могу сказать только одно: что дай Бог, чтобы все вы, наши «воспитанные», «образованные» девицы, были на столько же развиты и умственно и душевно, имели столько же женского такта, как она — «простая горничная».

Нечего говорить, что после таких любезностей со стороны хозяина, подружки наши недолго усидели у него.

— Я и забыла, — сказала, приподнимаясь, Наденька, — что сегодня сходка у Чекмарева. Ты, Дуня, остаешься? Ведь ты уже не едешь на сходки?

— Не езжу, но это, во всяком случае, не резон мне оставаться! Извините, Лев Ильич, что обеспокоили.

— Сделайте одолжение.

Он обождал, пока барышни накинули на себя в прихожей мантили и, увидев, что ни одна из них не протягивает ему на прощанье руки, с холодной формальностью раскланялся с ними.

Когда он затем входил назад в кабинет, на встречу ему бросилась Мари и со слезами обвила его руками.

— Милый, хороший ты мой! Он приласкал ее.

— Не плачь, дорогая моя, не стоят они того. Ты все слышала?

— Слышала... Спасибо тебе, голубчик!

Она сквозь слезы улыбнулась. Потом с беспокойством выглянула в окошко.

— Ах, Лева, уж смерклось, а сегодня праздник: много пьяных. Догнать бы тебе девиц, проводить до извозчика?

— Но, Машенька...

— Прошу тебя, друг мой, — перебила она его, — зачем зло воздавать тем же? Сделай это для меня, успокой меня.

Поцеловав ее в знак послушания, Ластов взял шляпу, сорвал в прихожей с гвоздя паль-

то и пустился в погоню за ушедшими.

Сбежав на улицу, он осмотрелся: направо в отдалении мелькало еще светло-ситцевое платье Бредневой, налево, за углом улицы, скрывалась высокая фигура Наденьки. Подумав с секунду, он взял налево.

Когда он поравнялся со студенткой, та оглянулась на него большими глазами, но молча прибавила только шаг.

— Я хочу проводить вас до извозчика, — сказал Ластов.

— Могли бы и не делать себе труда.

— Мари просила меня.

— Поздравляю!

— С чем?

— С башмаком, под которым успели уже очутиться. Учитель не счел нужным отвечать.

Днем был ливень, и в неровностях панели кое-где стояли еще небольшие лужи. Ластов посмотрел на обувь девушки.

— Вы, кажется, без калош?

— Да, без. Так же, как и вы, бес, леший! Оба замолчали.

— У вас, Лев Ильич, — заговорила тут На-

денька, — как у средневекового рыцаря, есть, разумеется, альбом?

— Есть.

— Что же вы не попросили нас начертать вам прощальную элегию?

— Потому что вы отказались бы.

— Нет, я имела даже наготове что написать вам. Хотите, я вам скажу теперь на словах?

— Как вам угодно.

— А! Ну, так и ненужно, — обиделась девушка. Он пожал плечами.

— Как знаете.

Они сделали еще шагов двадцать молча.

— Хотите или не хотите, — не утерпела студентка, — а я все-таки скажу вам. Слушайте:

«Так-то вы, г-н паладин, остаетесь верны своему знамени и девизу — избранной даме сердца? А что, если она вас только пытала? Но не волнуйтесь поздним раскаяньем, все это шутки. Если дама остается глуха к серенадам миннезингера, он в полном праве возгореть к другой: не даром же дрова жечь. Чтобы, однако, отпустить вас не

с совершенно пустыми руками, могу сказать вам *pour la bonne bouche* [44] несколько приятностей. Во-первых, вы прехорошенький, милованчик, одно слово. Приятно? Во-вторых, вы добрейшая душа, преблагонравный, преблагородный. Приятно? В-третьих, вы очень неглупый, начитанный малый, подающий положительные надежды сделаться однажды почтенным *pater familias* [45] и — самодурчиком. Приятно? Но будет с вас. *Farewell* [46]! Пребываем к вам по-прежнему благосклонны, но без сердечных содроганий.

Наденька».

Говорила это девушка легким, саркастическим тоном, но в голосе ее, наперекор ее заверению, трепетала больная струна уязвленного самолюбия. Тут проезжал мимо порожнем извозчик. Наденька остановила его.

— На Выборгскую, рубль?

— Пожалуйте.

— Итак — *addio, signor paladino* [47]! Вы уволены в отставку, но без мундира. Живите счастливо и привыкайте поскорей к бархат-

ному башмачку вашей... гражданской!

Обрызгав учителя грязью, насмешливо дребезжа, дрожки уже уносили ее от отставного паладина.

XII

*По камням, рытвинам пошли толчки,
скачки,
Левей, левей, и с возом — бух в канаву!
Прощай, хозяйские горшки!*
И. Крылов

Когда героиня наша входила к Чекмареву, тот в халате, с засученными рукавами сидел за мясничей работой: очищал скальпелем от жира мышечные фибры лежавшей перед ним на столе человеческой руки.

— Quis ibi est [48]? — обычным образом спросил он, не оборачиваясь, при звуке отворяющейся двери.

— Salve, mi amice [49], - шутливо отвечала полатыни же Наденька, бросая мантилью и шляпку на ближний стул и подходя к оператору.

— Липецкая? Как это вас угораздило? Я сейчас только думал о вас. Добро же пожаловать. Я поздоровался бы с вами, да видите — обе грязны.

— Ничего, я не белоручка.

Она крепко пожала ему запачканную в че-

ловеческом сале и запекшейся крови руку. Затем придвинула себе против него стул.

— Нельзя ли вам пособить?

— Можно. Вот подержите тут за кисть.

— Я была у Бредневой, — рассказывала Наденька. — Слабоумная! Не надеется даже приготовиться в академию. Мы сделали с нею по одному делу небольшую прогулку, и она просила, чтобы я опять зашла к ней, но я не вытерпела и, отговорившись, что у вас сходка, покатила к вам.

— И хорошо сделали... Научитесь, по крайней мере, мускулы отпрепарировывать. Поверните-ка ее вверх ладонью. Вот так, будет.

— Какая она полная, цветущая, — говорила Наденька, разглядывая мертвецкую руку. — От молодого, должно быть, субъекта?

— Да, ему было лет под тридцать. Губа-то у меня не дура, умел подыскать. Полюбуйтесь только, что за мышцы — гладиаторские! Вчера еще двигались.

Пальцы Наденьки, державшие кисть покойного гладиатора, против воли ее задрожали.

— Как? Вчера еще он был жив?

— Живехонек.

— Как же это с ним случилось? Чем он занимался?

— Ломовым извозчиком был. Как-то спьяну поспорил с добрым приятелем, что полоснет себя ножом по шее; ну, и сдержал слово, полоснул, да больно уж азартно: дыхательное горло перерезал.

— Брр... И его доставили к вам в клинику?

— Доставили. Бились мы с ним, бились, ничего не могли поделывать; хрипит себе, знай, как буйвол какой, а к ночи улыбнулся. Как только остыл, я, не говоря дурного слова, отрезал себе за труд свою долю — эту самую руку, связал в платок и был таков.

— У... какие страсти! — ужаснулась Наденька, смыкая веки и отталкивая от себя богатырскую руку. — И вы в состоянии говорить об этом так хладнокровно?

— А вас уже и стошнило? Слабенькая же вы, подлинно что женщина, в операторы не годитесь.

— Чекмарев, велите подать мне воды для рук.

— Ха, ха, ха! Смыть с них кровь ближнего?

Ну, да Господь с вами, вы у меня в гостях: надо уважить. Эй, кто там?

В комнату глянула служанка.

— Барышне умывальную чашку. Да скоро ли китайская трава?

— Сейчас.

— Вы еще не пили, Липецкая?

— Нет, но и не буду... — пробормотала в ответ Наденька, отходя на другой конец комнаты.

Когда ей принесли воды и кокосовое мыло, она необыкновенно тщательно обмыла пальцы и ногти, потом обсушила их носовым платком. Чекмарев, вытерев ладони лишь полою халата, намазал себе на трехкопеечный розанчик масла и с заметным аппетитом стал уплетать его за обе щеки, захлебывая горячим чаем. Пропустив свои два-три стакана, он с трудолюбием занялся опять гладиаторскими мышцами.

Наденька между тем вывесилась из окошка, выйдя в сад, сняла очки и, неподвижная, как каменное изваяние, вглядывалась пристальным, раздумчивым взором в уснувшее под нею царство растений. Отблеск

вечерней зари давно уже угас на отдаленных перистых облачках, и небесная синева, бледная, холодная, как утомленная после бала красавица, проливала на дольний мир скудный полусвет, еле обрисовывавший домовые крыши и трубы, да кудрявые древесные верхушки; все, что было ниже, скрывалось тем непрогляднее в таинственный сумрак. Только несколько приучив глаз к темноте, Наденька различила под развесистой сенью деревьев — тут скамеечку, там уходящую в глубокую чащу дорожку. Кое-где стояли отдельные деревья, как осыпанные свежим снегом: то была черемуха в полном цвету; прохладные струи ночного воздуха обдавали девушку пряным ароматом этого растения, смешанным с более нежным запахом едва распускавшихся сиреней, которых, однако, в общей мрачной массе деревьев нельзя было разглядеть.

Щекою упершись в ладонь, грудью прилегиши на подоконник, студентка долгими затяжками упивалась душистою прохладой ночного сада. В недвижимом воздухе не слышалось ни звука. Где-то лишь далеко пролаяла собака — и замолкла; откуда-то донесся чуть

слышный свисток, неизвестно — парохода ли, фабрики или петербургского гамена; зазвенел комарик, закружился в воздухе над русской головкой девушки и вдруг стрелой умчался в мрак деревьев. Сладостно-грустно мечталось Наденьке: забыла она и себя, и Чекмарева.

Тут на плечо к ней легла вдруг тяжелая пятёрня. Содрогнувшись, она схватилась за нее, но в то же мгновение отчаянно взвизгнула и кинулась в сторону: рука, за которую она ухватилась, принадлежала мертвецу-гладиатору.

Чекмарев расхохотался.

— Эх вы трусиха! Ну, можно ли до такой степени замечтаться? Поделом вору и мука.

— Ах, Чекмарев, вы серьезно меня испугали... Я и не слышала, как вы подкрались. Бросьте ее, эту страшную руку; тяжелая, как рука командора.

Презрительно скосив рот, медик исполнил, однако, просьбу товарки. Свалив препарат и все употребленные для него в дело инструменты на нижнюю полку развалившегося от долгой службы книжного шкафа, он во-

ротился к девушке.

— Вы, Липецкая, все еще не можете отделаться от этой бабьей чувствительности, — заметил он, усаживаясь на подоконник около нее. — Если вы от природы, как женщина, и более хрупкого сложения, то должны преодолеть свою слабость, укреплять при всяком удобном случае свой *nervus vagus*.

Наденька, погруженная в раздумье, не слушала его.

— Скажите, Чекмарев, — подняла она голову, — как вы думаете, может ли мужчина вполне образованный полюбить плебейку?

— Да вы что понимаете под любовью? Тогенбургское вздыхание к деве неземной?

— Да, безграничную преданность, ненарушимое согласие в помыслах, чувствах, делающие из двух супругов одно нераздельное целое.

— Экую штуку сказали! Да какой же разумный человек любит еще эту бесцельную, рыцарскую, мещанскую любовь? Если, как вы говорите, известный индивидуум мужского пола любит такую любовь известный индивидуум женского пола, то по сему одно-

му он уже должен быть причислен к ракообразным, сиречь ретроградным животным, и не может считаться современно образованным.

— Да говорят же вам, что он образован, образованнее, может быть, меня да вас... Или же я не понимаю его образа любви? Простой, невоспитанной горничной дал он слово вовек не разлучаться с нею; какое ж побужденье могло иметь тут место, как не любовь, мещанская что ли?

— О ком речь?

— Это нейдет к делу. Отвечайте мне на вопрос: мещанская это любовь или какая другая?

— Да он связан с нею церковным браком?

— Нет, одним гражданским.

— Каким там гражданским? У нас на Руси, слава Богу, не введена еще эта ехидная выдумка деспотизма. Гражданский брак только и имеет целью крепче закабалить нашего брата, мужчину: изволь обязаться формальной подпиской, что обеспечишь женину будущность да и в приданое ее не запустишь лапы. Остроумно, нечего сказать! Одно меня

удивляет: как на западе еще находятся дураки, что решаются жениться на подобных условиях.

— Но мы, Чекмарев, отклонились от предмета разговора. Лица, про которых говорю я, просто живут себе вместе, ни в чем не обязавшись письменно.

— Ну да, так это брак натуральный. Один он-то и есть настоящий, брак предписанный нам природой. Понравились друг другу — сошлись, приелись — разошлись. Ни бессмысленных письменных уговоров, ни свадебных церемоний...

— Ну, а человек, про которого у нас идет речь, обязался (конечно, не на бумаге) жить с тою девушкой целую жизнь?

— Значит, пришлась ему уже очень по нраву. Что ж, это бывает.

Наденька тяжело вздохнула и вывесилась опять в сад. Из сумрака деревьев клубились к ней одурительные благоухания черемухи и сирени. Она затрепетала и закрыла глаза рукою. Студент рядом крикнул и пододвинулся ближе.

— А, Липецкая...

Девушка, не отнимая руки от глаз, в каком-то забытьи прошептала:

— Что вы говорите?

— Натуральный брак, видите ли, сам по себе вещь очень рациональная, и если б, например, в вас было достаточно энергии и самостоятельности...

Он с назойливою доверчивостью взял ее за свободную руку. Девушка вздрогнула и повернулась к нему лицом. Сквозь светлые потемки летней ночи ему было видно, что черты ее расстроены и бледны, что глаза ее полны слез.

— Уйдите вы, уйдите от меня... — менее с испугом, чем с невыразимою грустью пролепетала она, высвобождая руку.

— Нет, не шутя, Липецкая, — убедительно продолжал он. — Чем поддерживается вселенная, как не магнетическим тяготением друг к другу разнородных элементов, чем органическая природа, как не взаимной симпатией разнородных полов? Не будь этой симпатии, мир бы вымер; но она вложена природой как безотчетное стремление во всякое живое существо, и всякое четвероногое, вся-

кая глупая птичка, всякая букашка, наконец, в зрелом возрасте ищет сочувственного сердца. Неужели человеку, высшему существу в органическом мире, идти в разрез с законами природы? Нет, с достижением им возмужалости, натуральный брак есть для него, можно сказать, даже святая обязанность. На что же и жизнь, как не для того, чтобы пользоваться ею? Ну, все здравомыслящие и пользуются...

— Все, все? И они?

— И я, и ты, и он, и мы, и вы, и они. Судорожная дрожь пробежала по членам девушки, и, рыдая, кинулась она на шею красноречивого натурфилософа.

— Я ваша...

— Как? Seriously?

— Целуй меня, голубь меня, Лев, ненаглядный ты мой!

— Мое имя не Лев.

— Ах, не разочаровывайте... Лев, жизнь ты моя!

XIII

*Гибнет чувство мое одинокое
Безотзывно, бездольно, безродно!*
Н. Щербина

Немного дней спустя г-жа Липецкая переселилась в небольшое родовое имение в новгородской губернии, куда взяла с собой и дочку. Здесь, в отдалении от целого света, предоставленная исключительно себе самой, Наденька принялась писать дневник. Представляем на выдержку несколько листков из этих самопризнаний.

* * *

Наконец, наконец-то в деревне! Прощай, злодей мой, и думать о тебе не хочу; как досадливую, запачканную страницу вырву я тебя из моей памяти!

И ты, болотистый город, все вы, люди болотистой почвы, с вашими мелочными, эгоистическими целями — прощайте, если возможно, навеки!

Одиночества — вот чего мне нужно, чего алкает всеми фибрами чувства наболевшая

душа моя! Природы! Здесь задышу я опять вольно, широко-широко, здесь сброшу с себя нравственное иго, подавляющее мои духовные силы.

Покуда, конечно, во мне еще темно, неподвижно, как в смрадных водах Мертвого моря: один насыщенный раствор солено-горьких слез и ни живой рыбки.

Когда я вчера, сейчас по приезде, спустилась в наш старинный сад, когда побрела вниз по запущенной аллее к пруду, когда-то зеркальному, теперь сплошь застланному сетью водорослей и желтых лилий, когда увидела перед собою старую знакомку — лодку, однажды белую, с голубым краешком и пунцовыми подушками, нынче полинялую «под бурями судьбы жестокой», меланхолически уткнувшуюся носом в застоявшуюся, гнилую воду, — у меня защемило сердце, так защемило, что не ударься в этот самый миг в мою щеку на лету майский жук — я расхныкалась бы, серьезно! Но тут я поневоле рассмеялась, оглянувшись вокруг и, заметив на ближней березе целый синклит тех же жучков, обхватила обеими руками, по старой памяти, ствол

дерева и давай трясти; жуки дождем посыпались на меня. Я отскочила — и вздохнула! Скука, Боже, что за скука!

Набрела я на качели — те же, что прежде. Доска, как в былое время, на крепких канатах, перекинутых через массивные железные кольца. Одна желтая краска столбов утратила от дождей свой яркий колорит. Вскочила я на доску — неуклюже закачалась она под мною; кольца, как пробужденные от векового сна, жалобно завизжали. Вновь безысходно заныло сердце! Соскочив на мураву, я без оглядки помчалась к дому, преследуемая плачем качелей.

На балконе остановила меня мать.

— Mais qu'avez vous [50], Nadine? Ты вне себя...

— Маменька, душенька! Велите снять качели, очистить пруд да подстричь деревья: светская облизанность все-таки лучше этого глухого, ужас наводящего запустенья.

— Светская облизанность! Да как ты смеешь... Недослушав фразы, я поспешила далее, в свою комнату, чтобы не показать неуместных слез, подступавших уже к горлу, к гла-

зам. Пошло, глупо — плакать, я это повторяла себе тогда же, а не имела над собою власти: слезы без удержу катились по моему лицу.

«Слабость, имя тебе — женщина!» — сказал Шекспир, и, кажется, не даром. Сложены мы нежнее, вместе с тем и чувство наше восприимчивее, глубже, богаче. Но, по законам физики, то, что выигрывается в силе, теряется во времени, и наоборот; усиление всякой способности в человеке происходит в ущерб другой: слепые слышат значительно лучше зрячих; если, поэтому, мы чувством богаче мужчин, то они должны превосходить нас рассудком. Нет, этого еще не следует! Я не хочу этого, не хочу, не хочу!

Я читала Мишлэ; у него есть некоторые, довольно живо схваченные житейские картинки. Вот одна из них. Речь идет о малютке-девочке.

«Ее как-то пожурили, и вот она, прикорнувшись в уголку, обвертывает какую-нибудь вещицу, маленькую деревяшку что ли, в лоскуток полотна, в матерчатую тряпку, оставшуюся от выкройки маменькинова платья, стягивает ее посередке ниткой, немного повыше дру-

гою, чтобы обозначить таким образом талью и шею, и нежно целует, баюкает ее.

— Ты меня любишь, — говорит она шепотом, — ты никогда не сердишься на меня.

Вот вам игра, но игра серьезная, серьезнее, чем представляется на первый взгляд. Кто эта новая личность, это дитя нашего дитяти? Проследим все роли, исполняемые этим таинственным созданием.

Вы полагаете, что тут действует одно подражание материнства (maternite), что ей хочется иметь собственную дочку лишь затем, чтобы быть „большою“, большою, как ее мать, чтобы самой иметь возможность кем-либо управлять и помыкать, кого-либо голубить и корить. Есть тут, пожалуй, и подобного рода побуждение, но не оно одно: рядом с подражательным инстинктом идет другой, врожденный, обнаруживающийся во всяком распускающемся женском организме, хотя бы эта будущая женщина и не имела перед собою образца в лице матери.

Назовем предмет его настоящим именем: это первая любовь. Идеалом в нашем случае служит не брат (он слишком задорен, слиш-

ком шумлив), а маленькая сестрица, такая же, как она, кроткая, любящая, которая и приласкает, и утешит.

Новая точка зрения, не менее верная: это первая попытка самостоятельности, первый робкий протест начинающей сознавать себя личности.

Под такой, самой по себе весьма грациозной формой кроется, без ведома малютки, зарождающееся стремление обособиться, известная доля оппозиции, женского противоречия. Она приступает к своей роли — роли женщины; под вечным игом терпит она теперь от своеволия матери, как впоследствии будет терпеть от своеволия мужа. Ей необходима поверенная, хоть маленькая, самая крохотная, с которой можно было бы повздыхать... о чем? да покуда, пожалуй, ни о чем, или — как знать — о чем-нибудь ожидающем ее в будущем. Ах, да и как же ты права, дитя мое! Много горечи подмешается еще к кратким часам твоего земного счастья! Увы! Мы, обожающие вас, сколько слез причиняем мы вам!»

Правда, m-r Michelet, истинная правда!

Страдаем мы чрез вашего брата, жутко страдаем! Да и впрямь, не обречены ли мы с самых пелен на пассивную роль? Если сравнить с девочкой, описываемой Мишле, любого мальчугана — найдем ли мы в нем хоть тень той застенчивой замкнутости в самого себя, той выносливости, той потребности в дружеской душе для сердечных излияний? Нет, он весь нараспашку, и если ищет общества сверстников, то только затем, чтобы быть между ними первым. Удадь ему врождена; никого на свете он не боится — разве отца своего; лазать по деревьям, по крышам за голубями — страсть его. Дайте ему куклу — он свернет ей шею, переломает руки и ноги. Ему нужно ружьецо, нужна лошадка, а за неимением наличной, первый чубук, первая трость преобразуются в коня, и, совершенно счастливый, с оглушительным гамом, гарцует он по всем комнатам дома. Самою природою назначен он обладателем, самовластным господином мира. Как же после этого соревновать с ним слабенькой, чувствительной женщине, свертывающейся при всяком грубом прикосновении, как мимоза, в самоё себя, нуждаю-

щейся в надежной опоре для поддержания своего воздушного тела? Но обвиняясь цепким плющом около своей опоры, около любимого человека, она все-таки не делается его рабою: как он ей, так и она ему необходима. Мягколиственными, душистыми ветвями обвивается она вокруг него так сердечно, так любовно... и не знает он существования раздельно от нее: без ее нежной заботливости, робких ласк — этой эссенции его жизни, он уже сам не по себе; и выбивается он из сил, чтобы добыть ей все удобства жизни, и домогается почестей и славы, чтобы было ей чем погордиться. В таком супружестве не может быть и речи о рабстве, о деспотизме: оба господствуют, оба с радостью несут иго своего второго я. Если бы мне, например, нести иго Л...? Как бы чудно легко было оно, более чем легко: тогда лишь я чувствовала бы себя...

Ха, ха, ха! Как я, однако, нелепо замечталась, даже слезы навернулись... Полно, дитяtko, не всем же, право, звезды с неба хватать. Иной бы, пожалуй, пожелал быть Ротшильдом, да мало ли чего? Нет, я могу даже благословлять судьбу свою; чего лучше: ни с кем не

связана, никому не обязана; хочу связаться — Чекмарев под рукой; вздумаю бросить — уйду, «прощайте-с»! и дело с концом; никто и взыскивать не может. Право, завидное положение.

Разумеется, между нами не будет никогда той заветной симпатии, той бесконечной преданности, как между истинно любящими, живущими исключительно друг для друга... Ну, да ведь в целом мире нашелся бы, может, один только человек...

Вон, несбыточные иллюзии! Это уже ни на что не похоже: глаза заволокло дождевою тучей, а в горле скребет, как перед ливнем... Лейтесь же, лейтесь, горячие: никто вас не видит! Господи, что за скука!!

XIV

*Нет, я больше не имею сил терпеть.
Боже! что! они делают со мною!*
Н. Гоголь

*Тиша, голубчик мой, ни на кого тебя
не променяю.*
А. Островский

Долго крепилась я, долго не хотела признаться себе; но теперь не может быть сомнения: я буду матерью...

Говорят, будто замужние с тайным восторгом замечают подобное состояние. Со мною совершенно противное: всю дрожь пробирает, нехорошая дрожь, на лбу холодный пот выступает. «Неужто, неужто?» — твердила я все последние дни, то отгоняя от себя неотвязную, ужасную мысль, то стараясь разными софизмами доказать себе неосновательность предчувствия.

Так вот он, хваленый ваш натуральный брак! Будущее дитя мое, дитя от нелюбимого человека! Еще не родившись, ты мне уже ненавистно! И ведь никакого исхода: терпи,

жди! Это, наконец, невыносимо, лучше окон-
чить с собою...

Я, однако, довольно холерического темпера-
мента: в порыве негодования и отчаянья
изорвала на себе платье. Благо, что утреннее,
ситцевое, а то бы невыгодно... Ха, ха! До исте-
рики смешно.

Что же делать? Метаться по комнате? «Ка-
раул» кричать? Да почти что одно только и
остается! Разве Чекмареву написать? Может,
он-то хоть что придумает; ему же ближе всего
заботиться о детище своем.

Боже, как противно писать к нему, лучше
бы, кажется... Право, не знаю, на что бы я вме-
сто того решилась. Ну, да полно сентимен-
тальничать, дело серьезное, серьезное как
смерть. Бери, матушка, перо, смотри, чтобы
не дрожало в пальцах, чтобы он не угадал
твоей борьбы; и ни слезинки! Не забывай, что
ты студентка.

* * *

Ответа, Чекмарев, ради всего святого — от-
вета! Вот уже третий день, как отослала пись-
мо, и хоть бы строчку! Долго ли наконец
ждать? Как ошалелая, маюсь, не зная, куда

деться; как медведь на цепи, слоняюсь из угла в угол; на свет не глядела бы, право!

Мать заметила мое расстройство.

— Ты, *ma chere*, как будто *indisposee* [51]? Не послать ли в город за доктором?

— Отстаньте, пожалуйста, с вашим доктором! — ожесточенно прикрикнула я на нее, так что она, бедная, не нашлась даже, что сказать, совсем оторопела.

Я заперлась в своей келье. Теперь, конечно, жаль ее: иногда у нее прорывается родительское чувство, и оно-то, вероятно, внушило ей те заботливые слова. Но прошу покорно владеть собою, не сердиться на весь свет, когда это ненавистное дитя ежеминутно, ежесекундно напоминает о себе!

Зачем, однако, по какому праву я изливаю на него свою желчь, на это ни в чем не повинное существо? Нет, оно виновно, виновно уже тем, что от нелюбимого человека!

Чекмарев! Да скоро ли ты заблагорассудишь удостоить меня ответа? Хоть луч бы чего-нибудь!

Ответ Чекмарева.

«Нечего, я думаю, говорить вам, Ли-

пещкая, что новость ваша нимало меня не обрадовала. Угораздило же вашу природу так поторопиться! Чтобы и ей, и бабушке ее, и тетке, если есть такая, пусто было! Ну, да жалобами дела не поправишь, факт существует; спрашивается только: как вы полагаете извернуться из него?

Мой взгляд на воспитание вам известен: я вижу в детях не игрушку для родителей, а собственность государства. Практические спартанцы отрывали человека уже младенцем от груди матери — и доставляли государству верных, мужественных граждан, крепких нервами и мышцами. Расслабленные идеалисты — фешенебельные афиняне умели только стишки пострачивать да двусмысленные статуйки вырубивать, в гражданских же доблестях спартанцам и в подметки не годились. И у нас на Руси есть свои спартанцы, в ограниченном покудова числе, но есть; это — мы, молодое поколение, с девизом: „Сапоги полезнее Пушкина“. Просто, а красноречиво!

Итак, чтобы воротиться к нашему незваному потомку, — куда вы наме-

рены пристроить его? Для первого раза я советовал бы отдать его в воспитательный, в ожидании улучшения наших финансовых обстоятельств. Всегда ведь есть возможность узнать стороною, куда, в какую деревню отправят его; а там, как заведутся пекунии, можно его, пожалуй, передать и в лучшие руки, в Женеву что ли, в пансион. Первое дело — укрепить его физически, чему лучше всего может способствовать здоровый деревенский воздух; и притом не приучать к родителям, ибо из подобных миндальностей, как говорится, кроме дурного ничего хорошего не может выйти.

Вот, значит, вам мой совет. Вы вольны, конечно, не принимать его; но в таком случае я омываю руки и не отвечаю за последствия. Была бы честь предложена, а от убытка Бог избавил. Ежели же вы будете настолько рассудительны, что поступите по моему желанию, то даю слово приносить на алтарь семейный и свою посильную лепту: само собою разумеется, что сумму, недостающую на воспитание filius'a [52], вы, как женщина самостоятель-

ная, постараетесь добывать сами.
Как видите, я делаю все зависящее от
меня в этом деле, специально касаю-
щемся только одних вас.
Едва ли стоит прибавлять, что сделка
наша остается между нами; вы хоть и
молоды, а настолько развиты, что не
станете мечтать о связи официальной.
От натурального же брака я не прочь;
так, значит, и знайте. Не последует же
сейчас повторение бенефиса!
С чем и имею удовольствие (или
неудовольствие, как хотите) оставаться
вашим Ч.»

Так ведь и чуяла, так и знала! Как лед, он
бесчувственно холоден к своему детищу, ху-
же: он боится его! Изыскивает разные увертки,
чтобы только отделаться от него.

А ты, бесталанное, всеми отверженное тво-
рение, что ожидает тебя? Самые близкие тебе,
твои родители, помышляют лишь об одном,
как бы сбыть тебя с рук, да незаметней, чтобы
стыда перед людьми не нажить. Нет, дитя мое
родное, я, мать твоя, не отвернусь хоть от те-
бя; ты — частица меня, первый цвет моей бес-

полезно увядшей молодости, я не отдам тебя никому, никому не отдам! Пускай клеймят меня, пускай гнушаются мною, как погибшей, — для тебя одного буду жить я вперед, воспитывать из тебя человека в полном значении слова, и станешь ты моей гордостью, моей честью!

Но если они, из презрения к твоему рождению, будут унижать тебя, коситься, указывать на тебя пальцами: «Незаконный, незаконный! Где твой папаша? Нет у тебя папаша! Или есть, да тысячеголовый, всякий встречный».

А что же? Не будут ли они и правы? Один лишь формальный брак служит некоторою гарантией любви нераздельной, какою она предписана нам природой, гарантией законного права детей на земное существование наряду с прочим человечеством.

Нет, Чекмарев, мы на этом не покончим, мы потолкуем еще с тобою. Ребенок наш, говорю я тебе, не получит спартанского воспитания: мы сами воспитаем его, мы, мать его и отец; да не будет он и отвержен светом, не будет иметь причины стыдиться своего проис-

хождения, потому что он будет законным, потому что ты женишься на мне. Тебя это удивляет? Ведь ты наотрез отказался? погоди, дружок, придет охота. Доныне я ненавидела тебя, теперь — угомоню свое сердце, заставлю его полюбить тебя, полюбить в нашем общем дитище. Я отдамся тебе всецело, со всеми заветными моими, несбывшимися верованиями и упованиями; твое благоденствие, благоденствие нашего дитяти будет восполнять все мое существование: волей-неволей ты полюбишь меня! Сам явишься ко мне с повинной, умолишь принять себя законным мужем. Да, милый, единственный мой, я приступом завую твоё расположение, любовь твою!

XV

*Ты все пела? Это дело:
Так поди же, попляши!*
И. Крылов

Безотраднa, отвратительнa нашa севернaя
Осень, слезливaя, хандрящaя! В то время,
когда на юге Европы, под открытым небом, в
мягкой, благотворенной атмосфере устраи-
ваются народныe празднества в честь удач-
ного виноградного сбора, и отовсюду на эти
торжества стекаются поющие толпы побесно-
ваться раз в волю, в светлом потоке всеобщег-
о братского веселья смыть с себя липкую
грязь повседневной прозы, — природа-мачеха
северной Пальмиры, с ехидным равнодуши-
ем, без громогласных угроз, лишь визгливо
хихикая, отвертывает над нами кран небесно-
го сита, и стоим мы и терпим, трясясь и кор-
чась, как бедные умалишенные под произво-
льным душем, терпим в продолжение трех-
четырех месяцев; поистине ужасно! Счастли-
вы еще баловни фортуны, имеющие возмож-
ность выезжать под этот душ в герметиче-

ских каретах, а у себя дома двигаться в нагретых покоях, не беспокоиваемые немолчным завыванием ветра и ворчливым грохотом кровельных железных листов — этой неизбежной музыкой воздушных пятых этажей. К счастливым подобного рода могла причислять себя и наша героиня. Но злобная туча заволакивала все гуще и мрачнее душевную синеву ее, начал моросить пронизательный, меленький дождик, обещая разразиться нескончаемым осенним ливнем. Чекмарев не поддавался ни на какие доводы и искусно отвиливал всегда каким-нибудь ловким парадоксом; с другой стороны, не давал ей покою вечный страх, что проведают ближние.

Небольшой эпизод, приключившийся вскоре по возврате студентки из деревни, отвел на короткое время одурительный нравственный гнет, неотвязным кошмаром лежавший на молодой, неокрепшей душе ее.

Забывшую кузину и подругу посетила нечаянно-негаданно Моничка Куницына. После серии урывчатых расспросов и ответов юная львица начала связный рассказ о своих похождениях и невзгодах, — разумеется, на

французском диалекте.

— Тебе уже известно, — повествовала она, — каким манером мы разъехались с Сержем: посоветовавшись с сердцем, я пришла к заключению, что окончательно охладела к мужу, что на будущее время мы были бы друг другу только бельмом на глазу; без обиняков объявила я ему об этом, и хотя он, глупенький, пришел в отчаянье, я, верная своему твердому характеру, в тот же день и час перебралась к Диоскурову. Тяжело, правда, было расставанье с сынком, с Аркашей. При прощании он точно понял, что теряет любимую мать: потянулся навстречу ручонками, подставил умильно губёнки и вдруг расхныкался! Насилу оторвалась. Первое впечатление, произведенное на меня новым моим пристанищем, было также не особенно-то приятно. Две мизерные коморки, да удивительнейший беспорядок: столы, стулья, окна — все было сплошь завалено платьями, сапогами, портупьями, эполетами, а более — табачным пеплом. Кое-где, как утесы средь взволнованного моря, возвышались гипсовые вакханки и веныры. Стены вокруг были также увешаны

многими раскрашенными гравюрами и картинами одних до непозволительности голошейных красавиц. Но за бутылкой шипучего рёдерера мрачное настроение понемногу рассеялось. Диоскуров имеет славный тенор и с большим чувством напевал мне всевозможные куплетцы; между прочим:

— *L'amour qu'est ce que ca, tamzel,
L'amour, qu'est ce que ca?*[53]

Распевая, он заключал меня в объятия крепко-крепко... даже дух займется! Я, конечно, не отставала и подтягивала:

— *L'amour, v'la c'qu'elle est,
monsieur,
L'amour, v'la c'qu'elle est!*[54]

И чтобы выказать ему на деле, что такое любовь, еще ближе прижималась к нему. Так-то вот любились мы с ним! Четыре месяца подряд души друг в друге не чаяли. Каких уж ласкательных прозвищ не придумывал он для меня: «огурчик», «пупыречка», «мосенька». Редко-редко повздорим немножко, да и то, знаешь, так, для развлечения больше. Деньги, полученные мною от дяди в прида-

ное, были истрачены в первый же год замужества с Сержем; мебель свою я завещала Аркаше. Таким образом, у меня не оставалось ничего, кроме туалета. Диоскуров также жил одним жалованьем, но я не плакалась на свою долю: поцелуи милого заменяли мне недостаток сахара во многом другом. Он не привозил мне помадных конфетов — я нашла суррогат. Дачу мы нанимали на петергофской дороге, и за нашей стеною тянулся обширный плодовый сад; когда яблоки, морели, сливы в нем созрели, я напою, бывало, садовника, заведовавшего этими богатствами, допьяна, да за какой-нибудь пятиалтынный и добуду от него полную бельевую корзину плодов; лафа!

В гостях у нас также недостатка не было; все больше из сослуживцев Диоскурова. Одному из них, Стрешину, я даже положительно голову вскружила: только и юлит около меня и ужасно всегда доволен, когда у меня открытая шея: заглядывает, знай, да облизывается. Но могу сказать чистосердечно: я никогда не изменяла своему сожителю; когда-когда пожмешь разве Стрешину руку потеплее, чем

прочим, да, в виде особой милости, позволишь ему, без свидетелей, поцеловать себя, но и то будто нехотя.

Из наших общих с тобою подруг навещала женья одна Пробкина. Такая низкая! Без злости вспомнить не могу: вздумала ведь отбить его у меня! Под конец лета он стал что-то частенько отлучаться в город. Как не спросишь: «Куда ты, michon?» — «Служба, — говорит, — не дружба». А возвращается только к ночи, точно у них служат до ночи!

«Неспроста, — думаю, — нужно поглядывать за ним».

Только раз вот он остался, против обыкновения, дома.

«А, а! — смекнула я. — Понимаем-с».

«Ты нынче не на службе?» — заметила я ему самым невинным тоном.

«Нет, — замялся он, — сегодня я свободен».

«Добро! — думаю. — Вот увидим, будет ли она; если будет, то...»

Не успела я додумать своей мысли, как вошла ожидаемая и сейчас же ко мне с распростертыми объятиями. Змея подколотная! «Как я, — говорит, — рада видеть тебя, ангел

мой! Дождаться не могла».

Я чуть не ударила ее, право. Но, не показывая виду, радушно расцеловала ее и вышла в другую комнату, предоставляя их друг другу. Ожидания мои оправдались: сперва спустился в сад Диоскуров, потом незаметно скользнула в дверь и коварная оболъстительница. Незаметно — но не для меня: я была за ними по пятам. Выскочила на балкон и оглянулась: их и след простыл; только дверь китайского киоска в углу сада была легонько притворена. Держась дернистого края дорожки, чтобы шаги по хрупкому песку не выдали меня, я кошкою подкралась к беседке, хватать за ручку — и настезь дверь. Минута, выбранная мною, была как нельзя более удачна: рыцарь мой преклонил пред своей Дульсинеей Тобосской одно колено, и она с грацией подносила к губам его ручку. Обращенная лицом к двери, Пробкина первая завидела меня; испустив пронзительный визг, она отдернула руку, обмерла и забыла даже приподняться. Он на крик ее живо обернулся, слегка смешался, но тут же придя опять в себя, преспокойно встал с полу, стряхнул с колена пыль и обратился ко мне

резким, как нож, тоном: «Чего не видали, сударыня? Не мешают вам с вашим Стрешинным, так и сами не заглядывайте в чужие карты».

Не помня себя от ярости, с сжатыми кулаками, подступила я к негодной:

«Так вот вы как поступаете с задушевными подругами! Чудесно! Вон же отсюда, разбойница этакая! Вон, говорю я! Дрянущка, подлянка!»

Диоскуров хотел было вступить за избранную даму сердца; но та ни жива, ни мертва удержала его за руку: «Оставьте... я уйду... уйду... Проводите меня только».

И, опираясь на него, она вышла.

Молча пропустила я их мимо себя, молча поглядела им вслед, не трогаясь с места. На том же месте стояла я, как прикованная, две минуты спустя, когда злодейка, в сопровождении своего вновь завоеванного кавалера, она в мушкетерке и тальме, он в кепи и пальто, вышли из дому и скрылись за калиткой.

«Ладно, — повторяла я про себя, — ладно!»

Увы! Дело разыгралось для меня далеко не ладно. Еще засветло вернулся назад измен-

ник. Я не удостоила его и взгляда, твердо решившись дуться на него в течение целой недели. Потирая руки, он сам заговорил со мною.

«Ну, пышечка, ничто не вечно под луною, тем паче скоротечная любовь. Нам придется расстаться».

Я не вытерпела. «Что за вздор? — говорю. — Как расстаться?»

«А так, — говорит, — как всегда расстаются: ты пойдешь направо, я налево».

Я даже рот разинула. Он, самодовольно улыбаясь, покручивал усы.

«Тебя, — говорит, — как я вижу, это отчасти ошеломило. Ну, да что же делать? Обстоятельства! Я, надо тебе знать, женюсь».

У меня и в глазах помутилось.

«Ты женишься? Да ведь ты женат на мне?»

Он расхохотался.

«Гражданским-то браком? Нет, — говорит, — я женюсь наизаконным образом, и будущая моя, как ты, вероятно, уже догадалась, Пробкина. Сегодняшний случай только ускорило мое сватовство. За нею дают хорошее приданое: пятьдесят тысяч; а с такими день-

гами, сама знаешь, шутить нельзя, на улице не поднимешь».

«А! Вот как! Так ты хочешь бросить меня!»

«Зачем, — говорит, — бросить? Ты женщина современная, самостоятельная, я довожу только до твоего сведения, что, мол, по таким-то и таким-то резонам нам уже не придется жить вместе».

«Это, — говорю, — бесчеловечно, бесчестно! Этого я от тебя не ожидала».

«Напрасно, — говорит, — имела полное основание ожидать. Сама же ты оставила Куницына, потому что он надоел тебе. Теперь я тебя оставляю, потому что ты мне надоела».

И это мне в лицо, а?

«Я тебе, — говорю, — надоела? Я тебе надоела?»

Скрежеща зубами, вне себя, схватила я ближний стул и с треском уронила его; потом толкнула столик, на котором стоял мой рабочий ящик и тарелка с фруктами. Столик грохнулся об пол, ножка одна отскочила в сторону, тарелка разлетелась вдребезги, яблоки, сливы и все содержимое ящика рассыпалось и покатилося во все концы комнаты.

«Вот же тебе, вот! Так я тебе надоела?»

Когда мое сердце улеглось, я серьезно задумалась, куда теперь приютиться. Назад к Сержу? Ни за что в мире! К дяде? Он меня знать не хочет. Куда же? А! К Стрешину. Тот меня хоть истинно любит.

Вечером того же дня я всходила по лестнице дома, где жил, как сказал мне Диоскуров, его приятель. Чем выше я поднималась, тем более сжималось в тяжелом предчувствии мое сердце, тем медленнее становились мои шаги. «А что, если он не захочет?» Я ухватилась за перила и глубоко вздохнула. «Да нет же, он обрадуется, как дурак!» И, переведя дух, я продолжала путь бегом. Уже смерклось; я прищурилась на номерок над дверью: «Так! 40-й.» С силою дернула я звонок. Полуминута, которую заставили прождать меня, показалась мне вечностью. Вот звякнул крючок, и выглянул, со свечою в руках, в халате нараспашку, сам Стрешин.

«Мадам Куницын! — растерялся он и запахнулся. — Денщика, — говорит, — я услал в лавочку за Жуковым...»

«Не до Жукова! — говорю. — Позвольте

войти».

Сбросив ему на руки бурнус, я вошла в комнаты. Ах, Наденька! Что за подлый народ эти мужчины! Когда я стала излагать ему причины моего приезда, он пожал с усмешкой плечами.

«Гм, — говорит, — жаль, очень жаль. Но сами, говорит, посудите: вкус у меня изощрен, требует разнообразия; а тут пойдут ребята, как грибы после дождя; и не развяжешься, тяни одну лямку. К тому же, говорит, мне и не по средствам. Другое дело, если б вы когда удостоили меня в качестве доброй знакомой...»

И это слушай собственными ушами! Не помню уж, как я выбралась от этого любезника. В ожидании перемены к лучшему я поселилась в отеле N. и повела жизнь самую скромную: ни души знакомой, и одно развлечение — театры. Но и на эту мелочь не хватало моих ограниченных средств. Пришлось обратиться к жидовке, к которой и перешли один за одним все мои наряды, сережки, браслеты. А тут бессовестный хозяин гостиницы представил счет, да такой длинный, что я и

говорить с ним не стала.

«А! — говорю. — Так вы так! Хорошо-с! Не останусь же я у вас. Гостиниц в Петербурге еще, слава Богу, довольно! Другие меня лучше вашего оценят.

„О, — говорит, — сударыня, я вас вполне оценил (мерзавец, еще каламбуры отпускает), но вы, — говорит, — ошибаетесь, если думаете, что я вас так и отпущу. Не угодно ли вам будет выбрать одно из двух: или немедленно же уплатить мне всю сумму до копейки, или переселиться на вольную квартиру в дом г-на Тарасова в первой роте Измайловского полка. За кормовыми, — говорит, — мы не постоим“. Что ты скажешь на это?

Чтобы возможно скорее отделаться от него, я в тот же час спустила последний браслет мой, бриллиантовый, тот самый, помнишь, что Серж подарил мне в день свадьбы? Сердце, просто, обливалось кровью, но другого конца не оставалось. Жидовка, действительно, дала мне за него порядочную сумму, которой бы совершенно достало, чтобы покрыть хозяйский счет; но — как на зло, на другой же день были объявлены в театре „Nos

intimes[55]“. А это моя любимая пьеса. Не утерпела я и послала за ложей. Тут вдруг вспомнилось мне, что у меня не остается уже ни одного платья, которого не видали в театре. Ужасное положение! Что делать? Не пропадать же даром билету! На все махнув рукой, я отправилась к модистке. И надо отдать ей честь: смастерила она мне наряд, которому подобного не было в целом бельэтаже: весь из белого, тяжелейшего бархата, с трехаршинным шлейфом, воланы с брюссельскими кружевами и сверху донизу все в золотых звездочках! Прелесть! Так жалко, право, что ты не могла видеть. Но зато как меня и лорнировали!

Ах! На следующее утро ожидало меня горькое разочарование: хозяин пристал с ножом к горлу.

„Я, — говорит, — послал уже за квартальным; если вы до вечера не представите мне долга в том или другом виде, то ночь проведете за тарасовской решеткой“. Я не на шутку струсила.

„Да в каком же, — говорю, — виде? Денег, вы знаете, у меня нет. Возьмите уж, так и

быть, платье: оно совершенно новое, раз только надевано и стоило мне вдвое более вашего счета. Только отстаньте!“ Он приторно-сладко улыбнулся.

„Что мне, — говорит, — в ваших тряпках; они не пойдут и за полцены. Есть у вас другой капитал — красота ваша“.

Я поняла его, но он такой противный: старик-стариком, курносый, да еще табак нюхает... Я ни за что не могла решиться! Обнадежив и выпроводив его деликатно за дверь, я тайком, задним ходом, тотчас же покатила к тебе. Не придумаешь ли ты чего, Наденька? Спаси меня, выручи как-нибудь!»

И придумала студентка одно средство...

XVI

*В обратный пускается путь.
М. Лермонтов*

*Но, увы! нет дорог
К невозвратному!
А. Кольцов*

В уютном кабинете, с гаванскою сигарой в зубах, с чашкою мокко перед собою, покоился старый знакомец наш Серж Куницын, после сытного обеда, в мягком вольтеровском кресле и просматривал, самодовольно зевая, маленькое письмецо на розовой, надушенной бумаге, — когда поднялась портьера и в комнату заглянул лакей. Видя, что барин занят делом, он сделал на цыпочках шаг вперед и скромно кашлянул.

— Что там еще? Вечно помешают! — не оглядываясь, с неудовольствием заметил наш комильфо.

— Барыня приехали-с.

Куницын повернул к слуге вполоборота голову и строго снял с него мерку.

— Какая барыня?

— Да Саломонида Алексевна-с.

— Что ты сочиняешь?

— Так точно-с. Нешто я их не знаю?

— А! Ну, так меня нет дома. Слышишь?

Тот молча поклонился и отступил назад, чтобы исполнить барское приказание, когда с силою был отброшен в сторону молодую дамой, которая вихрем влетела в комнату и повисла на шее барина.

— *Serge, mon Serge!*

Не приготовленный к такому внезапному нападению, Куницын стряхнул ее с себя, как навязчивую шавку, и с сердцем отодвинулся в кресле:

— *Que cela veut dire, madame* [56]?

Потом, приметив, что лакей, любопытствуя, вероятно, узнать окончание интересной встречи, остановился под портьерой, притопнул на него:

— А ты что глазеешь, болван? Пошел к черту!

— Слушаюсь, — отвечал тот, торопясь исчезнуть.

— *De grace, madame*, — начал Куницын, — вы, сколько помнится, обещались навсегда

освободить меня от вашей милой персоны?

Как провинившийся школьник, переминалась она перед ним с опущенными глазками, с разгоревшимися щечками.

— Обещалась... Mais j'ai changee d'idee [57]. Я рассудила, что не годится покидать мужа, покидать сына... Я воротилась.

— Вижу, вижу-с, что воротились. Да поздно спохватились, сударыня. Вы вообразили, что можно так вот, здорово живешь, убежать от мужа, ведаться Бог весть с кем, да потом, не находя себе более у других пристанища, вернуться опять к законному супругу? Да чем я, позвольте узнать, хуже других? С чего вы взяли, что я должен довольствоваться тем, чем гнушаются другие?

— Вы, Серж, говорите все о каких-то других, а между тем был ведь всего один другой — Диоскуров.

— Да кто вас знает!

— Клянусь вам Богом.

И в кратких словах, прикладывая помянуто платок к глазам, она передала мужу повесть своей бивачной жизни. Наш денди почти совершенно успокоился. С видом зрителя

в комедии слушал он жену, откинувшись на спинку кресла и вставив в глаз болтавшееся у него в петле, на эластическом шнурке, стеклышко.

— Все это очень трогательно, — согласился он, — но вы женщина рассудительная, скажите: что вы сами сделали бы на моем месте, если б существо, клявшееся вам перед алтарем в вечной верности, самовольно отдалось другому, а потом, когда чувство ее износилось, истрепалось, принесло обратно вам эти отрепья? Неужели вы удовольствовались бы ими? Неужели вы надеялись, что такое существо может еще занять около супруга прежнее место честной законной жены? Я очень ценю, сударыня, щедрость и великодушие, с которыми вы преподносите мне все, что осталось после вашего кораблекрушения, но я не смею принять вашего подарка. Недостойн, сударыня, недостойн! Слишком много чести.

Молодая дама непритворно расплакалась.

— Да ведь вы же любили меня? Вы такой добрый...

— *Treve de compliments* [58]! Мало ли кого я любил! И вы ведь меня когда-то любили, да

разлюбили же? А когда вы променяли меня на какого-то Диоскурова, то я, очень естественно, не мог сохранить к вам прежней привязанности, и с вашей стороны было бы plus que ridicule [59] требовать ее. Нет, я не принадлежу к взыхателям, я тут же старался развлечь себя — ну, и развлекся. Вот в руке у меня, как видите, записка: это — *billet-doux* [60], вот на туалете целая пачка их — все от премиленьких особ. Сызнова втянулся я в вольную жизнь холостяка, как птица, выпущенная из клетки, и вы думали, что так вот и поймаете меня, старого воробья, на мякине, что я по доброй воле вернусь в западню? Как бы ни так! Зачем выпустили? Разводная наша выйдет на днях, а до тех пор, с божьей помощью, проживем, может, и врозь друг от друга. Так-то-с! Что имеем, не храним, потерявши — плачем.

Слезы, действительно, текли обильно из глаз Монички. Она не утирала их. Не находя слов, покорно понурила она хорошенькую головку перед своим неумолимым судьей.

— Перестаньте! — промолвил он желчно. — Слезами не разжалобите: старая штука.

*Все клятвы женские — обманы,
Поверить женщине беда,
Их красота — одни румяны,
Их слезы — мутная вода.*

Слышите? Мутная, соленая вода-с.

— Vous etes cruels [61]... - пролепетала она. — Ничего я не хочу от вас; покажите мне только Аркашу.

— Показать? Отчего не показать. Но не воображайте, что вы сохранили на него какие-либо права. Идите за мною.

С горделивой осанкой направился он через анфиладу комнат к детской. Послушно, как овца на веревке, последовала за ним отверженная супруга. С невыразимой грустью окидывали ее взоры эти комнаты: когда-то она была полновластной в них царицей... Эта мебель... А! Да ведь мебель — ее собственность?

— Monsieur!

Муж остановился.

— Plait-il, madame [62]?

— Ведь мебель эта — моя?

— Вы забыли, что оставили ее сыну.

— Правда! — печально потупилась она.

Кормилицы не оказалось в детской. Сынок

разрозненной четы покоился в колясочке. Положив на уста, в знак молчания, палец, Кунцын пригласил жену глазами заглянуть в коляску. Во взорах юной матери вспыхнула яркая искра: на кружевной подушке почивал перед нею, со сложенными на груди ручками, полненький, свежий младенец.

— Как он вырос, да и какой беленький! Со всем не такой пунцовый, как прежде, — восхищалась Моничка, бессознательно опускаясь на колени перед коляской и крепко целуя малютку.

Тот проснулся и запищал.

— Бедненький! Разбудила! Голубчик, си-ночек мой! Она бережно подняла его с подушки.

— Засни, мой ангельчик, засни!

Но ангельчик, взглянув прямо на мать, забарахтался на ее руках и завопил благим матом.

— Он вас не узнаёт, — заметил с важностью отец и заманил маленького крикуна пальцами. — Поди ко мне, пузан, к папаше поди.

Мальчишка замолк и потянулся к папаше.

— Пай, Аркаша, пайнька-заинька. Вы видите, сударыня, что и сын-то вас знать не хочет. Мама — бяка, папа не отдаст тебя маме, мама — бяка, — убаюкивал достойный родитель своего наследника.

Молодая мать, не удерживая уже рыданий, прислонилась в изнеможении к комоду.

— Будет, сударыня, будет комедь-то ломать! — сухо заметил муж, на отвердевшем сердце которого смертельная горесть бедной женщины начинала оказывать размягчающее действие. — Вы видели своего сына, более вы ничего не требовали. Можете идти своей дорогой.

Пошатываясь, она с умоляющим взором сделала шаг в направлении к жестокосердому, потом вдруг дико захохотала и ринулась вон из детской. Озабоченно посмотрел ей вслед Куницын и принялся опять укачивать малютку:

— Баю, баюшки-баю,
Колотушек надаю...

Когда убаюканный таким образом сынок задремал, он уложил его обратно в коляску и

завернул в кухню распушить мамку: зачем оставила своего питомца одного? Затем он воротился в кабинет.

Чтобы рассеяться, он взялся опять за розовую записку. Но она не могла уже вызвать на губах его прежнюю улыбку; моргая, морщась, он погрузился в думу и бессознательно уронил на пол письмецо. Внезапно он встрепенулся и большими шагами пошел к выходу.

— Человек! Предстал человек.

— Беги, что есть духу, и вороти барыню.

— Сейчас, я только за шапкой...

— Не до шапки! Беги как есть. Да двигайся же, тюлень!

Но бесполезны были тревоги разжалобившегося мужа: вернулся человек, но не вернулась с ним барыня.

— Ну, что ж, не нагнал?

— Никак нет-с. Взял извозчика, покатыл в одну сторону — не видать, повернул в другую — и там след простыл.

— Так, видно, суждено было! — пробормотал Куницын и поднял с полу записку.

И Наденька у себя тщетно ожидала возврата кузины. Когда же, несколько дней спустя,

она переходила Невский, то мимо нее пронесся на рысаке щегольской фаэтон; в фаэтоне сидела, с разрумившимися от первого осеннего мороза щечками, в роскошной бедуинке Моничка; рядом с нею — сизоносый, в морщинах, старикашка в собольей шапке, оглядывавший спутницу с тривиальной улыбкой. Но юная львица, казалось, не замечала его: с радостным беспокойством засматривалась она в противоположную сторону, где нагонял их на заводском вороном удалой конногвардеец.

XVII

*Что за комиссия, Создатель,
Быть взрослой дочери отцом!*
А. Грибоедов

А туча все грознее надвигалась над бедной Наденькой...

Вскоре после вышеописанного эпизода, в полдень пасмурного ноябрьского дня студентка была вызвана в кабинет отца пред трибунал обоих родителей. Более всего поражало в молоденькой, еще так недавно молодцевато-энергической девушке клеймо безграничной скорби, почти безнадежности, наложенное на личико, на всю фигуру ее.

— Voila, — ткнула на нее указательным перстом мать, — jugez vous meme [63]. Прележняя ли это наша Наденька, свеженькая, осанистая, которою мы имели полное право гордиться перед светом?

— Вы посылали за мной, папа, — отнеслась к отцу бесстрастным, беззвучным голосом девушка. — Чего вам от меня?

— Mon amie, — обратился он к супруге, —

объясни ты: ты мать.

На категорически поставленный вопрос бледное лицо Наденьки мгновенно вспыхнуло ярким румянцем; потом опять побелело, побелело более прежнего.

— Так неужели правда?

— Правда... — чуть внятно прошептали ее посиневшие губы, и в глазах у нее загорелся зловещий огонь решимости смерти.

— Наденька! — в ужасе вскрикнули в один голос родители. — Но как это случилось?

— Случилось?.. Я состою в натуральном браке.

— В натуральном браке? — протяжно повторил отец. — Это еще что за выдумки? И, верно, с этим оборвышем-студентишкой?

— Да, с Чекмаревым.

— Ну, так и знал! Дай им на мизинец воли, они взлезут тебе на голову. Да как ты, однако, смела без позволения родительского?

— Для натурального брака, папа, не требуется согласия родителей; все — дело природы.

— Затвердила сорока Якова! Какой это такой натуральный брак?

— Натуральный, то есть естественный, в

противоположность вашему — искусственному. Физиология человека уже так устроена, что в известном возрасте лица разных полов невольно влекутся друг к другу; природа венчает их — вот и все формальности. Преимущества натурального брака перед неестественным заключаются еще и в том, что нет свадебных расходов.

Студентка старалась придать своему голосу уверенность и твердость, но не совсем успешно: казалось, что она отвечает хорошо затверженный урок.

— Обманутое, бестолковое дитя! Да обдумала ли ты последствия? Что скажет свет? Ты, дочь Николая Николаевича Липецкого (он делал ударение на каждом слове), не будучи замужем, вдруг... Ведь он ничем не обаялся? Может тебя оставить, когда вздумается?

— Может, но не оставит. Он, папа, из людей новых, для которых честь — первое условие земного счастья.

— Так-то так... Но я теперь уже ничему не верю. Так ты думаешь, он согласится жениться на тебе?

— Не могу сказать положительно. Я уже говорила ему об этом, но он находит, что это излишне.

— Ну да, излишне! Он просто-таки не хочет быть связанным и при первом случае готов отделаться от тебя. Но вы горько ошибаетесь, государь мой, не на тех напали-с. Ты, разумеется, знаешь жительство этого негодяя?

— Прошу вас, папа, не отзываться о нем так неуважительно.

— Еще отстаивает! Ну, да говори: где живет он? Наденька сказала адрес Чекмарева.

— Теперь изволь отправляться к себе и не показываться, пока не позовут! Понимаешь?

Не отвечая, дочь удалилась.

Г-н Липецкий уселся за письменный стол, взял большой почтовый лист, обмакнул губокомысленно перо и набросал следующие строки:

«Милостивый Государь.

Считаю долгом покорнейше просить Вас, по самонужнейшему делу, почтить Вашим посещением в наискорейшем времени, если возможно — немедленно по получении сей запис-

ки.

Примите уверение в совершенном почитении и преданности.

Н. Липецкий».

Чекмарев не дал ждать себя и вечером того же дня явился по приглашению. Несколько времени заставили его простоять в приемной, затем ввели в хозяйский кабинет.

Родители юной грешницы восседали на диване. Сама она, склонившись устало на руку, сидела поодаль, в углу. Г-н Липецкий не только не подал студенту своей левой руки или двух пальцев правой (в кодексе наших мандаринов есть в этом отношении градации с мельчайшими оттенками), но, не вставая с места, едва заметно кивнул ему лишь издали головой. Дочь, со своей стороны, пошла навстречу товарищу.

— Это еще что за фамильярности! — повелительно заметил ей родитель. — Твое место вон там.

Не прекословя, девушка удалилась в свой угол.

— Не угодно ли вам присесть? — сухо ука-

зал он гостю на ближний стул.

— Чувствительно благодарен! — отвечал тот, презрительно косясь на товарку и занимая предложенное место. — Вы что-то очень уж торопили. Верно, у вас кто-нибудь серьезно болен?

— Н-да, серьезно болен — нравственно! Позвольте узнать прежде всего того-с...

— Чего-с?

— Сколько вам лет от роду?

— Оригинальный вопрос! Но я не барышня и не держу своих лет в секрете: мне 23, с хвостиком; хвостик не длинный: месяца в два.

— Так-с, милостивый государь, так-с. Следовательно, вы совершеннолетни и признаётесь законом компетентными к обсуждению своих действий, равно и ответственными за сии действия.

Шутливое выражение на лице Чекмарева уступило место выражению сосредоточенного внимания. Но, принудив себя к улыбке, он с небрежностью вынул часы.

— А! Как время-то летит! Что значит хорошее общество. Но слова ваши касательно нравственно больного надо, как я вижу, пони-

мать фигурально; вопрос в чем-нибудь другом. Так не угодно ли будет вам обратиться прямо к делу; у нас, детей Эскулапа, должен я вам сказать, время — деньги!

Хладнокровие студента начинало бесить хозяина, и без того далеко нерасположенного к шуткам.

— Если время вам так ценно, — едко заметил он, доставая бумажник, — то позвольте и настоящее посещение ваше счесть докторским визитом и заплатить вам по таксе.

Порывшись в пачке ассигнаций, он вручил медику новенькую, зеленую. Тот преспокойно принял ее, как нечто должное и, смяв в комок, засунул в карман жилета.

— Всякое даяние — благо. Теперь я к вашим услугам. На чем мы, бишь, остановились?

— Дочь моя Надежда Николаевна не раз посещала ваши студенческие сходбища, — начал с расстановкою, видимо, сдерживая себя, г-н Липецкий. — Правда?

— Не отрицаю.

— И между нею и вами, г-ном Чекмаревым, состоялось некоторое предосудительно-

го свойства сближение?

Эскулап быстро обернулся к сидевшей в отдалении товарке и вопросительно-строго посмотрел на нее.

— Ты можешь говорить без обиняков, — отвечала она тихо, но так, что всем было слышно, — родителям моим уже все известно.

Как затравленный гончими в тесное ущелье кабан, желающий предварительно удостовериться, какой тактики держаться ему с многочисленным неприятелем, Чекмарев молча и зорко обвел глазами поочередно всех присутствующих. Потом, прищурясь, заговорил холодным, деловым тоном:

— Гм, так вот она ваша нравственно-то больная. Что ж, допустим, пожалуй, что между нею и вашим покорным слугою произошло известного рода сближение; заметьте, что я не признаю положительно факта сближения, а допускаю только возможность его; что ж бы следовало из того?

— А то, — отвечал, несколько поторопившись, раздраженный старик-отец, — что вы, как человек порядочный, были бы обязаны

жениться на ней.

— А! Ну, что ж, de gustibus non est disputandum [64].

— Прошу, однако, не забывать, сударь мой, — продолжал, более и более волнуясь, г-н Липецкий, — что к сему принуждает меня одна крайняя неотложность дела: слишком явные признаки вашего сближения, которые могли бы, чего доброго, броситься в глаза и лицам посторонним. То бы я, можете быть уверены, остерегся выдавать свою дочь за вашего брата, лекаришку и нигилиста. Вы, стало быть, можете благословлять судьбу свою, что я так сговорчив и за ваш гнусный образ действий уступаю вам еще высшее свое сокровище. Но дабы удостоиться полной моей милости, дабы я обращался с вами, как с подлинным зятем, вы обязаны выказать чистосердечное раскаяние с должным смирением и покорностью. В таком лишь случае вы можете рассчитывать и на приданое — в 15 тысяч. Поняли вы меня?

Неприятная улыбка исказила и без того непривлекательные черты студента.

— Понял-с, ваше превосходительство, как

не понять. Вам желательно иметь в зяте послушную машину, и, приняв меня почему-то за подходящий сырой материал для такой машины, вы так увлеклись своим планом, что говорите о моем браке с вашей дочерью как о чем-то давно решенном, ожидающем только вашей родительской печати да рукоприкладства. На беду вашу, матушка-природа набила и мою башку достаточной порцией мозговой кашицы, а наука и обстоятельства развили в ней рассудок — или упрямство, если это слово вам более по нутру. Вы же не могли представить себе, что и у других людей обретается в верхней камере сказанная кашица, и не потрудились навесть наперед справку: намерен ли я вообще лезть в подставленное мне супружеское ярмо?

— Как? — вскрикнул, грозно приподнимаясь с места, г-н Липецкий. — Вы смеее того... мечтать о разрыве?

— Мечтать, ваше превосходительство, изволите вы. Я гляжу на дело с практической стороны. Но при вашей полноте волноваться вредно: может и кондрашка хватить. Успокойтесь и сядьте.

— Ну, ну... — проворчал г-н Липецкий, усаживаясь, однако, по совету медика.

— Вот и прекрасно, — продолжал Чекмарев, — теперь поговорим, как толковые люди. Войдите, Николай Николаевич, в мое положение. Я ведь перехожу в четвертый курс, до выхода остается мне, следовательно, целых два года. Дочь ваша мне нравится, и если, по истечении этих двух лет, она сумеет не потерять моего расположения, то я, по всей вероятности, буду не прочь жениться на ней и формальным образом. До того же всякая официальная связь была бы с моей стороны глупостью.

— Но, милый мой, — осмелилась тут подать голос Наденька, — ведь и Лопухов выпустил Верочку из «подвала», не окончив курса, а между тем они устроились отлично: тут же добыли переводов, а вскоре Лопухову предложили и место управляющего на заводе.

Чекмарев с сожалением покачал головою.

— Какое же вы еще дитяtko! Женись после этого на вас; греха да беды наживешься. Ведь Лопухов — произведение бойкой фантазии романиста, которому ничего не стоило наде-

лить своего героя всевозможными благодатями; назначь он ему хоть миллион годовой ренты — у него, у автора, от того ни гроша бы из кармана не убыло; было бы только эффективней. Попробуй же наш брат, несочиненный, существующий в действительности смертный, не окончив курса да «без кормила и весла» в виде диплома на лекаря или доктора, пуститься в «океан жизни», — не только бы ему не дали больных лечить, но, с тем возьмите-с, не дали б и заводом управлять; да, и совершенно резонно, ибо кто же поручится за познания такого господина? Остаются, значит, одни переводы; но, Боже, что это за черствый кусок хлеба! Не говоря уже о том, что достать переводы довольно трудно: переводчиков нынче — что нерезанных собак; но и доставши их, хоть ложись да с голоду помирай, цена на всякие переводы (исключая разве с английского, но в английском языке я пас), цена, говорю я, на них по случаю конкуренции до того понизилась, что скоро, кажется, придется самому деньги платить, чтоб только приняли перевод твой. Очевидно, значит, что без вышереченного кормила и весла

и мысли допустить нельзя о церковном браке.

Г-н Липецкий дал высказаться Чекмареву; но долго сдержанный гнев бурно вырвался теперь наружу.

— М-да-с, да-с... Очень хороший расчет имели вы, милостивый государь мой, отличнейший, за исключением одной, самой пустяшной малости: вы забыли, с кем имеете дело, забыли, что я того-с... человек с весом!

— Никто этого и не оспаривал: пудов шесть, даже семь, наверное, весите.

— Дерзкий молодой человек! Худо вам будет! Я могу вам напакостить, на всю жизнь напакостить!

Дерзкий молодой человек сжал только плотнее губы, побледнел немножко; другого признака волнения не обнаружилось в неподвижно-холодных чертах его.

— Пакостите, если вас хватит на это, — отвечал он, приподнимаясь и берясь за кепи, — в чем я, впрочем, нимало и не сомневаюсь. Каши, во всяком случае, нам с вами, видно, не сварить, а три рубля своих я высидел сполна, так можно и отретироваться. Одно лишь счи-

таю неизлишним заметить вам на прощанье: вы, может быть, воображаете, что я левой ногой сморкаюсь? Разуверьтесь. Я не из тех, что добровольно подставляют спину, а и сам наделен от природы кулачищами, предобрыми, я вам скажу, и в дело пускать их умею. Если вы поэтому судебным путем вздумали бы преследовать меня, то я отрекусь от всего: знать, мол, не знаю, ведать не ведаю. Не признался же я до сих пор ни в чем и вам? А то и того чище: попрошу кое-кого из друзей закадычных показать, что дочка ваша навещала и их: я выйду из воды, выражаясь с поэтами, сух и чист, как голубица; дочка же ваша — сомневаюсь. За вами выбор.

— Мальчишка! — вырвалось из груди задыхавшегося от бешенства отца.

— Ругайтесь, ваше превосходительство, не стесняйтесь, пожалуйста: ведь я не более как вами же приглашенный гость, а вы не менее как хозяин. Что до вас, Липецкая, — повернулся он к дочери, — то после того, что вы побежали жаловаться папашеньке, в надежде принудить меня *polens-volens* [65] взвалить вас на мою шею, вы, конечно, не станете ожи-

дать с моей стороны какого-либо послабления и снисхожденья: отныне я не признаю в вас даже и натуральной жены своей. Желая здравствовать честной компании.

И, заломив набекрень кепи, студент наш ловко повернулся на каблуках и мерно вышел.

— Это-, это... это... — пыхтел вслед ему г-н Липецкий, тщетно приискивая подходящее слово для оклеймения всей гнусности выходки дерзкого молодого человека.

— *C'est terrible, infame, impertinent, abominable* [66]! — разразилась супруга его, со своей стороны не затрудняясь в выборе достойных эпитетов.

— О, вы у меня еще запляшете! — заголосолил разъяренный отец. — На весь город, на всю Русь протрублю свой позор, а вы у меня не улизнете: так ли, сяк ли, а заставлю жениться!

XVIII

*К чему колени преклонять?
Свободным легче умирать!
И. Никитин*

Наденька, не проронившая в продолжение всей предыдущей сцены почти ни слова, привсталала теперь, бледная, как воротничок на шее ее, с лихорадочно разбегающимися глазами, но тут же принуждена была ухватиться за ручку стула.

— Нет, папа... — прошептала она. — Оставьте... я не хочу выходить за такого человека... лучше всякий позор, чем быть женою подл...

Не договорив, девушка закатила глаза, затряслась и, как труп, грохнулась на пол. Г-жа Липецкая суетливо, в ущерб своему превосходительному сану, подбежала к ней и, достав из кармана флакончик с душистою жидкостью, опрыскала ею лицо дочери.

Тяжело вздохнув, та очнулась и, при помощи матери, присела опять на стул.

Отец, угрюмо и безучастно наблюдавший

обморок студентки, остановился перед нею с расставленными ногами.

— Так-с, так-с. Вы, значит, не желаете выходить за подлеца? А оскандалить перед целым светом своих родителей вам нипочем? Нет, любезнейшая, шалите! Как честный отец говорю вам: вы будете его женою, законною, и в наикратчайшем промежутке времени!

Наденька успокоилась. Но спокойствие ее было ужаснее всякого волнения: отчаянье есть хоть признак борющейся, полной сил и сознания этих сил жизни; лицо же героини нашей было безучастно, бесстрастно, как бездушное, ледяное лицо мертвеца: последнее дыхание жизни, казалось, отлетело от него.

— Нет, папа, — беззвучно промолвила она, — я не буду его женою, не делайте себе пустых иллюзий.

— Что? Ты думаешь еще противиться? Девочка дерзкая, мне противиться? О-го-го! Я насильно потащу тебя к алтарю!

— Не смешите, папа, мне, право, не до смеху. Разве в наш век можно заставить девушку против ее собственной воли выйти за кого бы то ни было? Мне стоит только сказать в церк-

ви, что я не желаю его, и дело с концом.

— Вот как-с, вот как-с... Конечно, принудить тебя против твоего желания я не могу, но... но у меня остается еще одно средство: если ты не исполнишь моей воли, я прокляну тебя!

Бледная улыбка, как бесцветный лунный луч из-за осеннего тумана, мелькнула по лицу девушки.

— К чему эти фразы, папа? «Слова, слова, слова!» Если я достойна наказания, то и без вашего проклятья кара рано или поздно не замедлит постичь меня как необходимое следствие обстоятельств. Если же я безвинна, то проклятие ваше будет одним театральным колофонием. Проще уж, если вы уже точно желаете выместить на мне свое сердце, угрожаетесь выгнать меня на улицу; это будет иметь хоть некоторый смысл.

— А что ж ты думаешь, бесстыдница, я не выгоню тебя? Выгоню, как последнюю собаку выгоню, в век не пущу назад в дом, отрекусь от тебя перед всеми. Слышишь, Наденька?

— Слышу, папа. Но как ни тяжело мне, а я принуждена повторить свое: Чекмарев нико-

гда не будет моим мужем.

— Последнее твое слово?

— Последнее.

— Ха! Прекрасно же, бесподобно! — пыхтел, не владея уже собой, раззлобленный старик. — Вот оно, уважение-то к старшим! Все было, значит, одной маской! Алексей, а, Алексей!

Он дернул за бронзовую ручку висевший над письменным столом сонетки с таким остервенением, что та осталась у него в руках.

— Mais, Nicolas... — попыталась утомонить спутника жизни более рассудительная супруга. — Что ты делаешь? Образумься!

— Алексей! — еще неистовее топнул ногою г-н Липецкий, и в дверях показался на этот раз бессловесный ливрейный исполнитель барской воли. — Выведи отсюда эту женщину!

— То есть как же так-с, ваше превосходительство? — спросил не доверявший своим ушам Алексей. — Куда-с?

— Куда! Дурак! За дверь, на улицу. Да не пускать ее назад ни на какие просьбы. Нет у

меня более дочери!

— Nicolas... — решилась вложить еще последний протест мать, в которой заговорило чувство более благородное.

— Молчать! — прикрикнул на нее супруг; потом повелительно указал слуге на дочь: — Исполни, что тебе приказывают.

Нерешительно сделал Алексей два шага в направлении к Наденьке. Та остановила его движением руки и с усилием поднялась со стула.

— Не трудись, Алексей, и без тебя я знаю выход. Прощайте, маменька! — обратилась она к матери и в голосе ее зазвучала невольная нежность. — Мне жаль вас!

Г-жа Липецкая взглянула на грозного супруга: дозволит ли он ей обнять проклятое дитище, и, прочитав на лице его прежнее безжалостное решение, со сдержанностью приложила ко лбу дочери. Та поцеловала ее в губы, поцеловала ей руку, потом обернулась к отцу:

— Прощайте и вы, папа. Ослепленные закоснелыми предрассудками и самодурством, которые вы тщетно скрывали до настоящего

времени под маской либерализма, вы, разумеется, не дадите мне проститься с вами, как бы следовало дочери с отцом. Прощайте же так. Дай Бог вам не раскаяться в сегодняшнем вашем поступке; горькая вещь — раскаяние! Но совесть моя — судья мне, что я менее виновна, чем вы, может быть, думаете, что вы слишком строго осудили меня.

Слезы, холодные, не утоляющие горя слезы струились по бледным щекам девушки. Тряхнув безнадежно головой, она бросила последний взгляд на мать и поспешила покинуть чуждую уж ей отчую кровлю.

XIX

*Опротивела мне жизнь моя,
Молодая, бесполезная!*

А. Полежаев

В тот самый вечер, когда эта оживленная семейная драма происходила в многолюдном, аристократическом квартале города, а одном из столичных захолустий имела место другая, безмолвная, одноличная драма, не менее серьезная.

В нижнем этаже двухэтажного надворного строения, над дверью которого днем можно было прочесть небольшую, простенькую вывеску: «Народная библиотека», в невысокой, довольно просторной комнате, при спущенных шторах окон, занималась за конторкой девушка. При мерцании светившей ей одинокой свечи различались вдоль стен книжные шкафы. Перед пишущей над конторкой висел удачный портрет автора «Что делать?». Как бы для вдохновения себя, вскидывала она порой взоры на портрет; когда при этом черты ее обливались полным светом пламени, знав-

шие ее узнали бы в ней Дуню Бредневу. Лицо ее заметно осунулось, скулы еще более выдались, нос приострился. По временам у нее подергивало углы рта, судорожно сводило пальцы — и только; в остальном вид ее был спокоен.

Заглянув через ее плечо, никто не ожидал бы прочесть следующее:

«Вы, маменька, считали меня всегда необычайно умной, во всем спрашивали моего совета; послушайте же меня в последний раз: не убивайтесь попустому — игра свеч не стоит. Радостей от меня в прошедшем вы имели мало; в будущем могли бы ожидать их и того меньше: не была же я в состоянии последнее время уплачивать даже свою долю за квартиру, за стол; вы, старушка, должны были работать для меня! Нет, что вам в такой дрянной дочери, выкиньте ее из сердца; остается же вам сын, который с лихвою заменит ее. Что до библиотеки, то я распорядилась уже продажею ее одному содержателю пансиона, которому требуются именно такого рода книги. Я просила его зайти к вам на будущей неде-

ле, когда вы уже несколько успокоитесь от неожиданного удара. Цену отдельным книгам вы узнаете из прилагаемого списка. Из вырученной суммы вы возвратите пяти товарищам Алеши (он назовет вам их) пожертвованные ими деньги; Наденьке также, что ей причтется. Если что еще останется, то, само собою разумеется, возьмите себе. Похороны устройте самые, самые простые: деревянный, некрашенный гроб да дроги в две лошади, или, если окажется дешевле, на носилках. До свиданья же, маменька! За гробом, надеюсь, скоро свидимся. Прощай и ты, Алеша, люби маменьку, исполняй беспрекословно все ее желанья: ты у нее теперь единственная защита и опора. Вы, Лев Ильич, сделали все зависевшее от вас, чтобы развить меня: вы имеете право требовать от вашей ученицы более подробного отчета в ее действиях. Выслушайте же меня. Отчаявшись достичь чего-либо в науках, я, как вам известно, предалась всей душой практической деятельности. По вашей же рекомендации, я достала переводов. Но... стыдно даже признаться:

хотя я и научилась в гимназии (частным образом) английскому языку, хотя и понимала почти все, что собиралась переводить, но за перевод не знала взяться: русской фразы толково связать не умела; вот как основательно учат нас родному языку! Понятно, что от работы моей с состраданием отказались: „Такой, дескать, макулатуры и без вашей куда как довольно“. Я не упала духом: оставалась же у меня основанная мною народная читальня. Что я взялась за дело не совсем-то неумеючи, вы можете судить уже по выбору книг: были у меня „Илиада“ и „Одиссея“ (поэзия младенческой нации для людей младенчествующих), был „Мир Божий“ Разина, басни Крылова, хрестоматия Галахова... Но и тут неудача, первый блин комом: народ наш еще так туп, что не может понять всю важность умственного развития, и отнесся к моей библиотеке совсем холодно (сглазили вы своим предсказанием!); много-много заходило в день человека два-три. Напрасно печатала я объявления в газетах: простолюдин наш и в руки не берет газет! На роду

мне, видно, написано не иметь возможности приносить пользу ближним, куда не кину — все клин, за что не возьмусь — все рушится, рушится от того, что подпорки шатки! Я, как Гамлет, который, полный прекрасных начинаний, не находил в себе сил к их осуществлению. Что же мне оставалось, Лев Ильич, сами посудите? Занялась я бухгалтерией — и выказала только бессилие свое на всякого рода головоломный труд; давала я уроки музыки, но, не говоря уже о бездоходности их (не свыше полтинника за урок), они опротивели мне своей бесполезностью: барышни наши ведь едва выйдут замуж, тут же оставляют музыку, так что она служит им, собственно, только для приманки женихов; а посвящать себя такой мелочной, такой — можно сказать — подлой цели я считала ниже своего достоинства. И вот — я осталась без всякой работы, без надежды и в будущем на какую-либо полезную деятельность. А если б вы могли знать, как это горько — признаваться себе: что ни на что-то ты не способна, никому-то не нужна, как бу-

лыжник, валяющийся на улице, ни на какую постройку не пригодный — разве на мощение мостовой! Но я не хочу служить мостовой, не хочу допустить всякой плебейской пяте попирать меня; лучше уж зарыть себя в землю — и переносно, и буквально! Я высказалась. Надеюсь, Лев Ильич, что вы теперь не осудите меня. Прощайте. Еще раз примите мою благодарность за все ваши старания и, прошу вас, сохраните о вашей бесталанной ученице добрую память.

К тебе, Наденька, обращаюсь к последней. Помнишь, как ты во что бы то ни стало старалась обратить меня в свой закон? Старания твои увенчались некоторым успехом: мои детские верования поколебались — но не совсем. Еще тлится во мне тайная надежда на нечто лучшее, не достигаемое для меня здесь, на земле, — на наградный пряник. Каково же было бы мне без этого пряника? Ты, с твоей самостоятельной, породистой натурой, быть может, обошлась бы и без него; я умертвила бы себя с отчаяния; теперь я умираю хоть — относительно говоря — спокой-

но, чуть не с улыбкой. Что бы там ни ожидало меня — все-же оно будет не хуже здешнего бытия. Вот и все. Прощай; живи счастливо с твоим Ч. ДБ.»

Перебелив духовную на большого формата почтовый лист, Бреднева, прикусив губу, со вниманием перечла еще раз написанное, исправила кое-где знаки препинания, потом зажгла черновую на свечке, бросила ее на пол и обождала, пока не обуглился и не свернулся последний уголок ее. Притопнув ногою тлеющие остатки, она подошла к двери, повернула ключ, чтоб увериться, замкнута ли та в два оборота, оглянулась на окна, спущены ли шторы; затем, вернувшись к конторке и подняв крышку, достала оттуда бутылъ с каким-то черным, крупнозернистым порошком, дробницу, ваты, ящик с пистонами и пистолет. Продув дуло, она принялась заряжать его. Хотя мешковатость, с которою происходило последовательное набивание оружия требуемыми снадобьями, и изобличала в ней неопытного стрелка, однако самый процесс заряжения был ей хорошо знаком: навела,

видно, заблаговременно справку, как приняться за дело. Вот она взвела курок, насадила пистон. Теперь подкатила к конторке деревянное кресло, зажгла вторую свечу и поставила обе по двум сторонам портрета любимого романиста.

В дверях раздался нетерпеливый стук. Самоубийца всполошилась, торопливо схватила пистолет, уселась поудобнее в кресло и, устремив взор на ярко освещенное в вышине изображение дорогого автора, поднесла оружие ко рту... Осечка! — Ах, я беспамятная! Говорил же он мне... — пробормотала она, вскакивая с места, насыпала себе из пороховой бутылки на ладонь горсточку пороху, сняла пистон, втиснула в затравку несколько порошинок и снова надела на нее гремучую шляпку.

Стук повторился.

— Отопрись, Дуня, это я, — послышался коченеющий от мороза женский голос.

Бреднева насторожилась.

«Никак Наденька? Разве впустить? Ведь она умная, поймет... Притом же можно выкачать перед нею хоть раз-то силу духа».

— Ты, Наденька? — спросила она, подходя

к двери.

— Я, Дуня, поскорей, пожалуйста... совсем замерзну.

— Но с условием, Наденька, не мешать мне, что бы такое я ни предпринимала?

— Не буду мешать!

— Честное слово?

— Между честными людьми не требуется клятв; обещаюсь — значит, и сдержу свято.

Бреднева повернула дважды ключ и толкнула дверь. Из мрака сеней выделилась фигура студентки. Самоубийца с некоторым испугом отступила шага два назад.

— Но, Наденька, на кого ты похожа?

Та переступила порог комнаты. На ней было только платье, ни бурнуса сверху, ни мантильи. Ничем не прикрытые, остриженные в кружок кудри, всклокоченные свирепствовавшей на дворе непогодой, блистали каплями дождя и прилипли у висков. Лицо посинело от холода, челюсти слышно ударялись друг о друга.

— Здравствуй, Дуня... Меня выгнали из родительского дома... я к тебе...

— Выгнали? Тебя? Да возможно ли? Но я,

право, не знаю, как приютить тебя, я сама...

— Что? Говори без церемоний: и ты меня знать не хочешь?

— Нет, моя милая, не то... На вот, прочти, узнаешь. Наденька сняла напотевшие очки и, все еще не придя в себя, стала пробегать по-данное ей завещание. Глаза ее неестественно заблестали.

— Что хорошо — хорошо! И ты, значит, собираешься в елисейские?

— Да... но ты, Наденька, обещалась не препятствовать мне.

— И не буду, напротив: хочу сопутствовать тебе. Для компании ведь и жид удавился.

— То есть как же так? Ты тоже намерена покончить с собою? Тебе-то зачем?

— Есть, видно, свои основания. Скажи, считаешь ли ты меня достаточно развитою, чтобы обсуждать свои действия?

— О да, еще бы.

— Ну, а я, подобно тебе, пришла к заключению, что «жизнь — пустая и глупая шутка». Каким манером, спрашивается только, думаешь ты совершить прогулку в надзвездный край?

Вместо всякого ответа Бреднева подняла оружие, которого не выпускала до этих пор из рук, к губам. Наденька вовремя удержала ее за руку.

— Ах, нет, Дуня, только не так! Личные кости разорвет, всю физиономию обезобразит, потечет кровь...

— Так прямо в сердце.

— А если промахнешься?.. Ведь вытащат пулю, вылечат, да еще на смех подымут. Другое дело вот синильная кислота: мигом умрешь, без судорог, сама даже не заметишь; и мускулов на лице не сведет: будешь лежать как живая. А то утопиться — тоже хорошая смерть.

— Но где же? В Фонтанке?

— Нет, там мелко, а я умею плавать. Надо будет уже на Неву.

— Да далеко отсюда.

— Извозчика возьмем. Но говори, Дуня: ты серьезно решилась?

Во все время предыдущего разговора Наденька, иссиня-бледная, лихорадочно дрожала, дрожала от промокшей на ней от дождя одежды; и Бредневу начинала проникать

дрожь, но дрожь страха смерти, нагнанная на нее, не отшатнувшуюся от самоубийства, мертвящим хладнокровием подруги. Она перемоглась и, спрятав пистолет в конторку, взяла за руку студентку.

— Пойдем же, пойдем... Но ты, Наденька, без шляпки, без всего? — остановилась она. — Да и мои все вещи наверху, у маменьки. Не хочется только идти туда; пожалуй, задержат.

— Да с какой радости нам кутаться? Чтобы теплее тонуть было? — засмеялась Наденька, и смех ее, хриплый, надломанный, проник Бредневой до мозга костей. — Тем скорее, значит, окостенеем, ко дну пойдем.

— Но в случае нас увидят на улице просто-волосыми, в одних платьях... чего доброго, городской остановит, извозчик не повезет.

— И то правда. Повяжем же головы. Девушки накрылись платками.

— Ну, однако ж, идем, идем, а то еще заметят, — заторопила Наденька, увлекая подругу за руку в темные сени, а оттуда на вольный воздух.

Звезда покати́лась на запад...

Прости, золотая, прости!

А. Фет

На дворе стоял ноябрьский вечер, темный, ненастный. Шел порошистый, холодный дождик. Когда девицы, одна за другою, прошмыгнули в калитку на улицу, их охватил, как в охапку, бешеный, ледяной вихрь и чуть не сбил с ног. Упрятав руки в широкие рукава платья, зажмурив глаза, Наденька пошла навстречу непогоде. Бреднева едва поспевала за ней.

На углу показались при слабом огне фонаря извозчичьи дрожки. С лошади, меланхолически понурившей голову, валил клубами пар, как от самовара. Хозяин экипажа, приютившийся под навесом подъезда, предложил барышням свои услуги.

— Подавай... — глухо отвечала Наденька и взлезла в дрожки.

Бреднева поместилась рядом. Извозчик, оглянув легкий костюм обеих, покачал голо-

вою и стал неспешно отвязывать привешенный к морде лошадки мешок с овсом. Управившись с этим делом, он неуклюже взобрался на козлы и взял вожжи.

— Куда прикажете, сударыни?

— К Николаевскому мосту, — прошептала, стуча зубами, Наденька.

— Ну, пошевеливайся, старая, что стала! Добрых барышень везем! — задергал он вожжами, довольный уже тем, что «добрые барышни» не условились насчет проездной платы, определить которую, следовательно, предоставлялось его собственному усмотрению.

Морской, порывистый ветер пронимал насквозь слабо защищенные легкими платьицами нежные члены девушек; колючие брызги мелкого дождя хлестали их по лицу, по рукам. Обе продрогли, переплелись руками и близко прижались друг к дружке. Каждые десять минут доносился отдаленный пушечный выстрел, возвещавший прибрежным жителям Невы и каналов о возвышении воды выше предписанного уровня.

Вот и театральная площадь. Скромный

ванька должен был попридержать свою клячу, чтобы пропустить несколько щегольских господских карет, подкатывавших с грохотом к украшенному колоннадой и конными жандармами, главному фасаду храма Аполлона и Терпсихоры. Вот и Поцелуев мост; загнули к Благовещенью. Усиленный, неистовый порыв ветра чуть не опрокинул дрожек, не свеял с них седоков. Возница глубже нахлобучил шапку:

— Эка погодка, прости Господи!

Бреднева затрепетала и крепче прижалась к спутнице.

— Наденька... — пролепетала она коснеющим языком.

— Да, Дуня?

— Мне страшно...

— Крепись, мужайся, уж близко.

Обогнули Благовещенье и мимо бульвара и дворца выехали к Николаевскому мосту. Сквозь дымку разлетающегося по ветру дождя тускло светились с моста два ряда газовых огоньков, окруженных туманными кольцами.

— Где остановиться прикажете? — обер-

нулся к барышням извозчик.

— Да тут хоть, у панели, — отвечала Наденька и хватилась за карман. — Ах, Дуня! Портмоне-то и не со мною.

— И я свой дома забыла.

— Как же быть? Послушай, извозчик, вот тебе платок, вот косынка, денег у нас нет.

— Ай, барышни, не грешно вам так обманывать бедного извозчика? Что мне в этих тряпках? Да куда ж вы? Эво прыткие! Нет, стой, держи, так я вас не пущу.

А девушки, рука об руку, легкие, как тени, взбегали уже на тротуар набережной. Свирепым вихрем их чуть было не сбросило обратно на мостовую: вовремя успела одна из них ухватиться за каменную ограду. Внизу, в непроглядной глубине, бушевала расходившаяся река: с глухим бурлением прорывались могучие валы взад и вперед под непоколебимыми быками моста, с сердитым плеском разбивались они о береговой гранит.

Волосы Наденьки, освобожденные от сдерживавшего их платка, взвились в дикой пляске вокруг головы ее. Насквозь похолодевая, онемелая, как изваянная из льда статуя, сжа-

ла она, с последней энергией молодой, замирающей жизни, руку спутницы.

— Отсюда нехорошо: прибьет к берегу, разобьет в кровь... Вот спуск: верно, есть лодка...

Они достигли спуска. Вздувшаяся река накрыла уже половину его. Клокоча, взлетали неистовые волны к ногам девушек и окачивали их своими пенистыми брызгами. Звонко журча, стекали воды с верхних ступеней обратно в реку. К береговому кольцу, как верно предугадала Наденька, был привязан челнок, небольшой, аристократический; в каком-то отчаянии покачивался он вправо и влево на набегавших валах и всякий раз зачерпывал понемногу воды, которая, к приходу девушек, наполняла его почти уже до скамеек.

Притянув лодку за веревку к себе, Наденька окостеневшими пальцами начала отвязывать ее. Отвязала.

— Садись, Дуня.

Приподняв край платья, Бреднева шагнула в маленькое судно и, по колено в воде, пробралась на корму. Оттолкнув челнок от берега, и Наденька прыгнула в него. Как ореховая

скорлупа, спущенная шалунами в рябящуюся от ветерка дождевую лужу, заплясала и закружилась легкая ладья на бушующей стихии.

Душевная твердость студентки, до последней минуты искусственно поддерживаемая наплывом тяжелых, противоположных ощущений, вдруг изменила ей: дрожь всем телом, в совершенном изнеможении присела несчастная на скамью и, схваченная внезапными судорогами, без звука повалилась ничком в лодку — в наполнявшую ее воду.

— Наденька, с нами крестная сила! — перепугалась Бреднева и принялась поднимать ее.

Глаза бедной студентки закатились, у рта выступила пена. Лодка, вынесенная между тем на гребнях двухсаженных волн под самый мост, с силой ударилась о гранитный бык. Раздался треск разбивающихся досок, пронзительный крик Бредневой: — Помогите! — и судно вместе со своим экипажем поглотилось разъяренной влажной бездной.

На набережной толпилась вокруг городского и извозчика кучка любопытных.

— Бона, слышали, вашество? — толковал ванька. — О помочи кричат. Беспременно

они-с.

— Леший бы их побрал... Нашла бабья одурь! — ворчал блюститель общественного порядка. — Чтоб им!.. Тут под спуском должна быть лодка.

Толпа повалила к спуску. Кто-то отделился и сбежал по ступеням.

— Ни души! — откликнулся он снизу.

— И лодки нет?

— И лодки нет.

— Ну, так поминай как звали, пропали мои денежки! — почесал в затылке извозчик.

В это время на глазаюющих налетела с хриплым лаем косматая собака. Вслед за нею подбежал юноша лет пятнадцати, в легком домашнем сюртучке, в гимназической фуражке.

— Что тут такое? — осведомился он задыхающимся голосом, трясясь от волнения и холода.

Страж с достоинством оглянул его.

— Девчонок пара топиться вздумала, — нехотя дал он ответ.

— Так что ж вы стоите, как истуканы! Достать багров! Да нет ли поблизости лодки?

Оживленность гимназиста сообщилась

прочим; все засуетилось. Несколько минут спустя, у ближнего садка было отвязано два ялика; в один из них первым прыгнул гимназист.

— Отчаливай, братцы! Проворней!

Взлетая и погружаясь, ялики взапуски перерезывали темную зыбь в направлении к мосту.

— Вон словно что вынырнуло... Никак рукав?

— Рукав и есть,

— Подъезжай. Вот так. Зацепляй багром, багром зацепляй, да легче, братец, легче, не изранить бы, сохрани Господи.

Общими усилиями было вытащено в ялик бездыханное женское тело. С трепетом неугасшей еще надежды поднял гимназист мокрую голову утопленницы и заглянул ей в лицо.

— Наденька! — разочаровался он. — Тут должна быть еще одна...

— Другие отыщут, — был ему ответ, — эту бы до-преж всего привести в чувство.

— Да то сестра моя! — умолял со слезами на глазах молодой Бреднев.

— Мало ли чего! И эта, может, чья-нибудь да сестра. Валяй назад, к берегу! Дружно!

Ялик причалил к спуску. Десятки рук протянулись принять выловленное тело.

— Эвона, какая грузная! Откачивай, братцы, даст Бог, очнется.

Пока откачивали несчастную студентку, Бреднев мчался уже, как окрыленный, к соседнему спуску, откуда доносилось жалобное завывание пса, мелькали огни, раздавались клики:

— Тащи ее, тащи! Ну-ж, поминай как звали! Шабаш. Как есть дерево.

С отчаяньем кинулся юноша к распростертому на камнях труп сестры — и отшатнулся: он глянул в страшно искаженные черты, в тусклые, стеклянные глаза покойницы.

— Нет, уж тут взятки гладки, — говорили, с соболезнованием кряхтя и отдуваясь, окружающие. — Мертвец мертвецом. Господь да успокой ее грешную душу!

*Эка жизнь с бабой-то хорошей!
Когда я теперича с тобой сам друг,
так мне хоть все огнями гори!*
А. Островский

До настоящего времени своенравная владычица человеческого живота и смерти — всемогущая судьба обошлась с Ластовым довольно милостиво. Теперь принялась она исподволь подливать ему в сносно-сладкий кубок жизни капля по капле горькой полыни, чтобы сразу не ошеломить его полной чашей одурительной горечи, которую приберегла ему под конец.

Однажды в сумерках Мари присела к своему милому, стыдливо припала к его плечу и робко прошептала:

— Левушка, друг мой, ты не рассердишься?

— А что?

— Да видишь ли... скрывать уже невозможно, теперь нас двое, а скоро будет трое...

Невольно скорчил Ластов гримасу, но тут же обнял «жёночку» (как называл он теперь

Машу) и расцеловал ее.

— Так ты не сердисься на меня, добрый, хороший мой?

— Не имею никакого права сердиться. Не сам ли я всему виною? Да, наконец, дитя наше еще неразрывнее свяжет нас. Я рад, очень даже рад.

Несмотря на сердечность, которую молодой человек старался придать своим словам, в голосе его прорывалась нота грусти. Мари подавила вздох и отерла тайком слезу.

Замечательно, что редкие из молодых мужей не исполняются тайного страха при первом женином признании вроде вышеприведенного. Главным мотивом подобного страха служит, по большей части, нелишенное глубокого основания предчувствие, что за этим первым детищем неминуемо последует еще длинная вереница голодных крикунов, обуза содержания которых, естественным образом, взвалится исключительно на его, отцовские, плечи. Но порыв первого неудовольствия вскоре уступает место неусыпной заботливости о благоденствии родоначальницы своего будущего потомства.

То же было и с Ластовым. Покуда не было помину о ребенке, он все еще словно надеялся на что-то, что-то лучшее. Теперь обманчивый туман сомнений рассеялся, действительность предстала в полном свете дня: его узы с молодой швейцаркой окончательно закрепились, благословлялись дитятей; круг частной, семейной его жизни обрисовался в совершенно явственных формах; оставалось только применить к этим формам, заставить себя влиться в них всем своим существом, отождествиться с ними, чтобы, при малейшем движении, не удариться о выдающиеся углы.

Найдутся, может быть, читательницы, которые обвинят нашего героя в непостоянстве, в ненасытимости, на том основании, что сам исполнившись раз, под влиянием истинной, глубокой любви Мари, неподдельного к ней расположения (глава IX нашего рассказа), он тем не менее мог еще мечтать о замене ее другою. И, Боже мой, сударыни! Да разве он не имел перед собою, в лице Наденьки, девушку, которая во всех отношениях могла перещеголять скромную швейцарку? К тому же

он был еще когда-то влюблен в нашу студентку... Явись к вашим услугам новый Гарун-аль-Рашид, мы убеждены, всякая из вас, как бы счастлива ни была она, нашла бы еще кое-что, что могло бы, по ее мнению, усугубить ее счастье, и повернула бы она вверх дном все свое доселешнее житье-бытье. Так уже устроена человеческая натура: как организму нашему непрерывно необходима материальная пища, так и дух наш требует постоянных возбуждательных средств; инерция усыпляет, убивает его. Без всякой надежды на что бы то ни было плохо жить на белом свете!

Ластов же, потеряв последнюю надежду на соединение с Наденькой, нимало не лишился еще оттого всех ожиданий на лучшее будущее: не говоря уже о манившем его в туманной дали поприще профессора, воспитании собственного поколения и многом другом, в самой Мари открывал он что день новые достоинства, или, вернее: она умела постоянно разнообразить себя и этою вечною новизною прельщала и привязывала его все более к себе.

«Да чем же я не первый счастливчик в ми-

ре? — говорил он сам себе. — Такая хорошенькая, свеженькая, ласковая жёночка, только мною и живет, обо мне одном печется... „Счастье, — говорит Тургенев, — как здоровье: оно есть, если мы его не замечаем“. Неправда! Я замечаю все свое счастье, замечаю, какой клад обрел в своей Машеньке. Без сомнения, ей, как кровной швейцарке, несмотря на все ее старания, не удалось еще вконец обрусеть, исполниться живого сочувствия ко всем насущным интересам новой отчизны; конечно, не лишне было бы ей и несколько основательнее образовать себя; но ничего еще не потеряно, все может устроиться: как сдам только зимою свой магистерский экзамен, так на воле займусь с нею. И будет у меня подруга жизни, лучше которой по всей Руси со свечкой не сыщешь, будут у нас детки — такие же славные, как мать... Между тем что ж? Доныне я не признаю ее в глазах света равною себе, достойною себя!.. Что, в самом деле, кабы?..»

— Машенька, да или нет?

— А ты приятное для себя задумал?

— Приятное.

— Так, разумеется, да.

— Ты полагаешь? Но все же надо будет еще обдумать, Машенька, серьезно обдумать.

— Да о чем речь, милый ты мой? Ведь ты мне еще ничего не объяснил.

— Много будешь знать — состаришься.

Напрасно зоркие, черные глазки Маши пытались разгадать таинственную думу, осенившую высокий лоб милого; милый молчал, а она приняла за правило никогда не надо-едать ему расспросами.

Со дня же рокового признания Мари Ластов еще любовнее привязался к ней. Если при возвращении его домой Маша не выбежала к нему навстречу, в переднюю, он изумленно оглядывался, точно забыл что и не может припомнить. Если во время его занятий она не обреталась где-нибудь поблизости, на диване, на соседнем стуле, за обычным теперь шитьем — рубашечек, чепчиков, свивальников, — он, как бы не в своей тарелке, беспокойно поворачивался в кресле и не был в состоянии хорошенько вдуматься в предмет. «Жёночка» его сделалась для него приятною необходимостью. Уходила ли она со дво-

ра, он непременно удостоверяться всякий раз, тепло ли она одета, обута; но это не была заботливость о балуемом дитяти, это было скорее благоговение идолопоклонника перед дорогим пенатом: он стал уважать в ней мать своего потомства. Раз как-то попалась ему на улице чужая женщина, походка округлость тела которой изобличали также благословенное ее состояние: с безотчетным почтением посторонился он с дороги, хотя принужден был при этом ступить чистою калошей в грязь.

Появились у Маши свойственные ее положению беспричинные причуды и прихоти; безропотно сносил он первые, беспрекословно — если только исполнение их состояло в его власти — удовлетворял последние.

Так попросила она его благословлять ее перед сном (она была строгая католичка); с этого дня он аккуратно каждый вечер возлагал на нее крестное знамение.

Обедал он теперь дома: Мари сама ходила за провизией, своими руками приготавливала кушанье (и, сказать мимоходом, с замечательным искусством). Представилось же ей

вдруг, что она не может есть с тарелки, пока ее Лева не отведал с нее. Ластов вздумал сначала обратить дело в смешную сторону.

— Не боишься ли ты, — сказал он, — что блюдо отравлено? Пусть, дескать, я первый испробую его действие?

Но эта несколько грубоватая шутка так растрогала чувствительную Мари, что молодой ученый, опасаясь, чтобы слезы, навернувшиеся на ее ресницах, не повлекли за собою целого потока, заблагорассудил поскорей исполнить своенравное желание жёночки. После этого он ежедневно съедал первую ложку, первый ломтик с тарелки ее.

Нашла на нее неодолимая страсть до мороженных яблоков. Дело было осенью, и мороженных плодов в продаже еще не имелось. Ластов сходил в ягодный ряд, купил два десятка боровинок, наведаясь потом нарочно к хозяйну дома испросить позволение заморозить их в его леднике и, когда яблоки обратились насквозь в ледянистую массу, с торжествующим видом представил их Маше. С невероятною алчностью поглотила она их тут же с пяток; когда же вслед затем ее вырвало, она поспе-

шила снести остальные полтора десятка в кухню Анне Никитишне:

— Съешьте, если хотите, а то выбросьте вон, только с глаз уберите: глядеть противно.

— Да что ж за охота была вам кушать эту дрянь? — добродушно усмехнулась старушка. — Ведь знали, что стошнит?

— Ничего не знала. Такой ведь до них голод разбирал, что и сказать не могу; во сне являлись и наяву мерещились, на языке даже слышала вкус их. Теперь же просто глаза колят.

За исключением этих незначительных странностей, обращение Мари с возлюбленным оставалось прежнее — предупредительное, приветливое. Несмотря на частую зубную боль, она неизменно показывала ему личико веселенькое, довольное, ни разу не позволила себе малейшей жалобы. Только в случаях, когда на нее находила непреодолимая прихоть в роде вышеописанных, она уже не отставала от него просьбами и ласками, пока не обретала желаемого.

Чаще прежнего стал он погружаться в созерцание ее.

«Какая она, однако, душка! Что, право, если бы?..» — мелькало у него снова в голове, и губы его бессознательно повторяли то же.

— Что ты говоришь, Лева? — взглядывала на него Маша. — Да как же ты смотришь на меня? Так хорошо, так сладко! Что это значит?

— Это значит, что пристяжная скачет, а ко-
ренная не везет, — отшучивался он и, отгибаясь на спинку кресла, нежно целовал любопытствующую.

— Так здравствуй же, сказал он ей, —
 моя жена перед людьми и перед Богом!
 И. Тургенев

В декабре месяце Ластов сдал последний экзамен на степень магистра; в январе была назначена защита диссертации.

— Дружочек, можно мне с тобой? Пожалуйста! — попросила его поутру знаменательного дня заискивающим голосом Мари.

— А ну, срежусь? — улыбнулся он. — Ведь тебе же за меня стыдно будет?

— О, нет, ты выдержишь, ты не можешь не выдержать. Добренький, хорошенький мой, возьми с собою твою Машеньку?

— Ну, поедем.

Принарядившись в лучшее, что было у нее, швейцарка целое утро хлопотала около Ластова, чтобы показать его людям в наиболее приятном виде.

— Постой, Лева, повернись немножко, тут ровно еще пылинка, — говорила она, стряхивая ладонью уже безукоризненно чистый ру-

кав его.

Со смело закинутой назад головою, лицом несколько бледнее обыкновенного, стоял он на кафедре перед переполненной аудиторией и ловко, с достойным подражания хладнокровием отводил сыпавшиеся на него меткие научные удары оппонентов. Притаив дыханье, с огненными щеками, не отводила с него Маша своих лихорадочно блестящих больших глаз. Когда же в заключение диспута декан провозгласил Ластова магистром, когда раздались немолчные рукоплескания и знакомые вновь испеченного магистра окружили его, поздравляя и пожимая ему руку, — Маша также бросилась к нему, но на полпути остановилась.

— Хочешь домой, Машенька? — подошел он к ней с сияющим от довольства лицом.

— Пойдем, пойдем... О, Лева, какой ты у меня умник!

С робостью, но и с гордостью оперлась она на поданную руку. Вдруг она вздрогнула и испустила легкий крик.

— Что с тобой? — озабоченно склонился к ней Ластов.

— Вон, вон, видел? — прерывисто шептала она, не отводя от выхода расширенных от испуга зрачков.

В толпе, за углом двери скрывалась высокая женская фигура в одежде послушниц сестер милосердия.

— Это была она, она...

— Кто такая?

— Да Наденька!

— Тебе так почудилось. Наденьки давно уже нет в живых.

— Когда ж я видела... Он не мог ее разуверить.

Заботливее, чем когда-либо, усадил он ее в сани и, когда они отъехали шагов на сто, крепко обнял и поцеловал ее:

— Здравствуй, невеста моя!

Она высвободилась и с укором посмотрела на него:

— Нехорошо так шутить, Лева.

Ни слова не ответил он ей, только улыбнулся. Когда же они проезжали мимо золотых дел мастера, он приказал извозчику остановиться и помог Мари из саней.

— Да куда ж это, друг мой? — спросила она.

Молча взял он ее под руку и ввел в магазин.

— Нам нужны кольца, — обратился он к содержателю магазина, — не угодно ли вам снять мерку.

— А вам какие? — спросил тот. — Обручальные?

— Обручальные.

— 94-й пробы?

— 94-й.

Маша безмолвствовала; но, посмотрев на нее с боку, Ластов заметил, как все лицо ее залило румянцем; в то же время рука, опиравшаяся на него, затрепетала, прижалась к его руке крепче.

— Милый мой, бесценный! — шептала счастливица, когда они снова мчались в направлении к дому. — Да обдумал ли ты толком, что делаешь?

— Обдумал, невесточка, — отвечал он, с глубокой нежностью глядя на нее, — дело самое простое: сначала у меня была жёночка, теперь она сделалась невесточкой, а там станет жёночкой в квадрате, то есть во столько же раз еще дороже, чем просто жёночка.

— Но я, право, и не мечтала о таком бла-

женстве... Ты слишком высоко ставишь меня.

— Об этом уже не заботься! Вопрос теперь только в том: как удобнее устроиться? Тебе, разумеется, было бы приятнее иметь собственное хозяйство?

— О, да! Но...

— Прошу, без всяких но. Итак, завтра же мы отправляемся отыскивать новое место жительства. На первый случай, однако, придется удовольствоваться маленькой квартиркой, комнаты в три.

— И чудесно! Зачем же нам больше? Тем, значит, будет уютней.

Анна Никитишна встретила своих жильцов с несколько озабоченным лицом, которое, однако, тотчас же прояснилось.

— Ну, слава Богу, все кончилось, видно, благополучно! Оба веселы, расцвели, что твои вешние цветочки.

— Да как же нам и не веселиться, — сказал Ластов, беря Мари за руку и подводя ее с официальной вежливостью к хозяйке: — Честь имею рекомендовать — нареченная моя. Прошу любить и жаловать.

— Как вы сказали? На старости лет я, знае-

те, несколько туга на ухо, да насморк прокля-
тый...

— Нет, вы не ослышались, мы помолвлени.

— Может ли быть? Да с коих пор?

— Очень недавно: с четверть часа назад. Сейчас кольца заказали.

— Ну, дай Бог, дай Бог! Желала-то я вам, Лев Ильич, по правде сказать, завсегда нашу же русскую, православную, да богатеющую — из купецкого звания что ли, кровь с молоком, ну, да вон Марья Степановна, голубушка моя, знала околдовать меня: не могу осерчать за ваш выбор.

— Добрая Анна Никитишна! — проговорила растроганная Мари. — Мне самой жалко расстаться с вами.

— Что вы говорите? Вы хотите покинуть меня? Да чем, когда, скажите, не угодила я вам?

— Напротив, Анна Никитишна, — отвечал Ластов, — мы очень довольны вами и никогда не забудем ваших попечений. Но сами знаете: хозяин в доме, что Адам в раю; желательно обзавестись раз и собственным дом-

КОМ.

Слезы навернулись на глазах старушки.

— Понятное дело-с... Всякому приятно быть своим господином. Но я так любила вас, скажу по чистой совести, как деток родных любила! А теперича, перед самой смертью, оставайся одна, как перст, сиротой горемычной! Нет, Лев Ильич, вы недобрый, это вы подговариваете Марью Степановну. Марья Степановна, матушка, замолвите вы-то хоть доброе слово?

— До свадьбы мы, я думаю, и без того останемся.

— Что мне до свадьбы! Я, чай, на той неделе и повенчаюсь? Нет уж, оставаться, так оставайтесь по меньшей мере до увеличения семейства. Сами вы рассудите, Лев Ильич: не лучше ли будет, если вы на новое-то житье переедете с жёночкой здоровою, свеженькой, да и с маленьким Львовичем либо Львовной?

Обрученные переглянулись. Мари покраснела и отвернулась.

— Видите ли, Анна Никитишна, — сказал Ластов, — мы живем теперь в четвертом этаже: Марье же Степановне нездорово поды-

маться в такую высь. Будущую квартиру мы возьмем в этаже первом, много во втором.

Анна Никитишна совсем опечалилась. Маша сжалилась над нею.

— Знаешь, Лева, — сказала она, — останемся-ка в самом деле до тех пор... Ведь я крепкая, бодрая: что значит мне раз какой-нибудь в день всходить немножко повыше?

Хотя Ластов и привел еще кой-какие возражения, но должен был уступить настояниям двух дам. На том и порешили: оставаться «до тех пор...»

— Послушай, дружок, — говорила ему несколько дней спустя Маша, — я хотела бы написать домой?

— В Интерлакен?

— В Интерлакен.

— Да ведь у тебя нет там никого родных? Ты ни с кем, кажется, не переписывалась?

— Нет, но у меня есть подруги детства; надо же похвастаться перед ними! К свадьбе я также думала пригласить того, знаешь, кондитера-энгандинца с семейством, у которого служила вначале.

— Также чтобы похвастаться?

— Да! Отчего ж и не хвастаться таким золотым муженьком?

— Оттого, что в прописях сказано, что хвастовство — мать пороков.

— Неправда, неправда! Так, стало быть, я напишу?

— Напиши, пожалуй. Только смотри, не слишком расхваливай: не поверят.

— Должны поверить!

И их обвенчали — сперва священник православный, потом католический. Гостей было приглашено самое ограниченное число: со стороны Ластова два-три сослуживца и молодой Бреднев, от Маши — энгадинец с женою да двумя зрелыми дочерьми. Выпиты были две бутылки донского, съеден великолепный шаманткухен — презент кондитера. Ни музыки, ни конфетов, ни сплетен! В 11 часов вся компания мирно разошлась по домам.

Но для молодой госпожи Ластовой с этого дня взошла как бы новая заря. Улыбка не сходила с ее уст; попечительность ее о бесценном «законном» муже, если возможно, еще удвоилась. Глядел на нее муж — и не мог наглядеться.

«Молодец, брат, что женился, — гладил он себя мысленно по головке, — в жизнь свою дельнее ничего не выдумал».

XXIII

*Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена.
А. Пушкин*

Обедал Ластов в последнее время, как мы уже сказали, дома. Провизию Мари закупила самолично в недалеком литовском рынке.

Было зимнее утро, ясное, морозное. Бледно-палевые лучи низко стоящего солнца скользили по верхушкам зданий и обрисовывали на противоположных стенах воздушные, подвижные тени вертикально из труб восходящих и разрежающихся в белесоватой лазури, дымных столбов. Нимало не стараясь уже скрыть от взоров проходящих свое настоящее положение, Мари с мешком закупок в руке, несмотря на гололедицу, весело порхая и тихонько напевая про себя «Ласточку», возвращалась из рынка восвояси. Ее обогнал молодой человек и, по обыкновению нашей молодежи, не преминул заглянуть ей под капор, узнать: хорошенькая или нехорошенькая.

Оказалось, что «хорошенькая», и, отойдя несколько шагов вперед, он остановился в ожидании ее. Павой протекла Маша мимо эстетического юноши, но при этом не обратила должного внимания на замерзшую на панели лужу — поскользнулась и грузно бухнулась на камни. От сильного сотрясения она лишилась на мгновение чувств. Пришедши в себя, она увидела над собою озабоченное лицо того же молодого человека. Она хотела приподняться, но бесполезно. Юноша, как видно, теперь только заметивший физическое состояние «хорошенькой», с состраданием поднял ее и кликнул извозчика.

— Нет, не нужно... — предупредила она его, — здесь совсем близко.

— Так до дому дайте хоть довести. Вы можете довериться мне: я из студентов.

Мари принуждена была принять его услугу и, тяжело дыша, оперлась на его руку. Не сделав ей ни одного вопроса, чинно, скромно довел ее студент до ее подъезда.

— Благодарю вас, — прошептала она. — Теперь я могу и одна.

— Но до двери...

— Нет, нет. Прощайте.

— Как вам угодно! Мое почтение.

Не оглядываясь, студент пошел своей дорогой.

С трудом начала Мари взбираться по ступеням. На каждой площадке должна была она отдыхать. Кое-как, через силу, доплелась она до верха. Анна Никитишна, заботливым оком приемной матери немедленно заметившая ее расстройство, завозилась около нее, расспросила, как упала да больно ли «убилась», и принудила ее слечь в постель.

— Хорошо, до обеда, пожалуй, прилягу, — согласилась Мари, — но чур, ни слова мужу, понапрасну будет тревожиться.

До прихода, однако ж, Ластова боль в пояснице у молодой женщины возросла уже до того, что она нашлась в необходимости при помощи Анны Никитишны обратиться к ледяным примочкам. Муж застал ее уже в жесточком ознобе. Сломая голову полетел он к ближайшему акушеру. Освидетельствовав больную, тот успокоил его.

— Не портите себе духа пустой тревогой... Все в наилучшем порядке; разве дело

немножко ускорится. Продолжайте примочки, да против жара давайте ей клюквенного морсу, разбавленного водою.

Все свободное от уроков время Ластов проводил теперь в хлопотах около жены. В отсутствие его Анна Никитишна заменяла его. Кровать, ради чистоты воздуха, была вынесена из тесной спальни в кабинет.

Трое суток положение Мари не улучшалось, но и не ухудшалось. В ночь на четвертые Ластов, утомленный продолжительным бдением, воспользовался сошедшей на больную в глубокую полночь дремотой и сам прилег на диван. Вскоре чуткий сон его был прерван глухими вздохами. При мерцающем свете ночника увидел он перед собою, на середине комнаты, Мари. Руками упираясь в бедра, еле волоча ноги, тащилась она через силу по комнате.

— Машенька! — испугался он. — Милая, ты из постели? Как ты неосторожна!

— Поедем-ка к бабушке, друг мой... Пришло время...

— Зачем же к ней? Я привезу ее сюда.

— Нет, Лева, пожалуйста, не нужно. Пото-

ропись, дружок.

Ластов повиновался. Кусая губы, поминутно вздрагивая, держась, чтобы не упасть, за край дивана, бедная мученица покорно, как малое дитя, давала одевать себя.

— Миленький ты мой! — шептала она, склоняясь к учителю и целуя его в голову. — Сколько тебе чрез меня хлопот, сколько забот!

Недолго спустя, одетые оба по-дорожному, молодые супруги выходили в переднюю. Мари остановилась в дверях и перекрестилась на все четыре стороны.

— Будь, что будет... Господи, воротиться бы мне! За перегородкой зашаркали туфли, в ночном неглиже выглянула хозяйка.

— Ахти, да куда ж это вы? — переполошилась она, разглядев при свете теплившейся в переднем углу перед образом лампы жильцов.

— В Москву! — печально улыбнулась Мари. — Выпустите-ка нас, добрейшая Анна Никитишна. Надеюсь, еще свидимся.

— Ай, чтой-то вы говорите, Марья Степановна, полноте! Воротитесь, здоровехоньки

воротитесь. Но отчего бы не позвать бабушки сюда, на дом?

— Нельзя... До свидания, Анна Никитишна.

— С Богом, матушка, с Богом!

На дворе стояли трескучие февральские морозы. Снег хрустел под ногами пешеходов. Выведя жену с возможной осторожностью через двор да под ворота, а там в калитку на улицу, Ластов оглянулся за извозчиком. Отдаленная улица, в которой жили они, точно вымерла. Там и сям, сонно моргая, с явною неохотою исполняли свою однообразную службу американские светы Шандора. С глубоко-индигового купола ночных небес мигала почти ярче семизвездная медведица. Гулко раздался в общей тишине, по морозному воздуху, голос Ластова:

— Извозчик!

Из-за соседнего угла высунулась лошадиная морда, донесся отклик:

— Подаю-с.

Подкатили боком утлые сани ночного ваньки. Не рядясь, Ластов усадил сперва жену, укутал ей бережно ноги, потом сам присел на краешек и обнял ее мускулистою рукою.

— Пошел!

Он назвал улицу, где проживала рекомендованная ему акушером бабка. Езды было двадцать минут. Хоть путь стоял и санный, и лучшего даже нельзя было требовать, но, как всегда, попадались и небольшие ухабины; при каждой из них Маша вздрагивала и, точно улитка, болезненно сжималась. Напряженное дыхание, подавленные вздохи, порой и невольный крик говорили красноречивее слов о страданиях ее. Ластов, казалось, вместе с нею ощущая все неровности пути, потому что, сидя как на иголках, за каждым толчком укорял возницу:

— Да тише же, тише.

Вслед затем опять торопил его:

— Да двигайся же, братец! Ползет как черепаха. Ванька только головою поматывал:

— Вот так барин!

Двадцать минут до цели путешествия показались Ластову столькими же часами. Дремавший у ворот с дубиною в объятьях дворник, бормоча, приподнялся, запахнул полушубок, загремел ключами и отпер парадный ход. Тихонько, шаг за шагом, довел Ластов же-

ну до второго этажа. Отворила им девочка-служанка и, по обмену парой коротких фраз, ввела их в приемную. Вскоре вышла к ним с платком на плечах, протирая глаза, и бабушка. Попросив Ластова обождать, она увела Мари к себе. Недолго затем она вернулась, но уже одна.

— Супругу вашу я уложила. Все кончится, даст Бог, благополучно, хотя, — прибавила она с лукавой улыбкой, — вы привезли ее получасом ранее, чем следовало. Отправляйтесь теперь домой да выспитесь: верно, поумаялись и нуждаетесь в отдыхе. Завтра же можете понаведаться к часам этак девяти утра; вероятно, я сообщу вам приятную новость.

— Но нельзя ли мне хоть проститься с женою?

— Нет, нельзя-с, она сама вас не хочет видеть. Да не беспокойтесь, все устроится к лучшему. До завтра, г-н Ластов, до завтра! — вы проводила она его дружески за дверь.

Учитель воротился к себе, но легко себе представить, в каком настроении он провел остаток ночи. На час какой-нибудь спустился тревожный сон на его утомленные веки. В по-

ловине седьмого он был уже на ногах и про-
хаживался, как зверь в клетке, взад и вперед
по комнате. Сколько времени-то еще до девяти!
Тут лежит ее рукоделье, здесь заложенная
бисерной закладкой, не дочитанная ею книга,
там из-под кровати выглядывают ее малень-
кие туфельки... Пусто так кругом, недостает
ее — хозяйки, души дома! В начале восьмого
часа постучалась к нему Анна Никитишна.

— Лев Ильич, желаете кофею?

— Благодарю вас, нет, не до него.

— Выпейте, родимый! Еще с вечера при-
пасла нарочно сливок.

Десять минут спустя расторопная старуш-
ка, успевшая уже и в булочную сбегать, уго-
щала своего любимца дымящимся напитком
Аравии (разбавленным, конечно, отечествен-
ной цикорией) с необходимыми снадобьями.

— Кушайте, батюшка, на здоровье. Совсем,
бедненький, отощали.

Но, хлебнув раза два из стакана, Ластов по-
ставил его на поднос и заходил опять по каби-
нету.

— Что-то с ней, что-то с ней?

— Да пейте же Лев Ильич! — уговаривала

хозяйка.

— Не могу, Анна Никитишна. Он посмотрел на часы:

— Боже! Скоро восемь.

Схватив на лету шляпу и шинель, он выбежал на лестницу.

— Да куда же вы в такую рань? — кричала ему вслед недоумевавшая старушка.

— Узнать...

Только подъехав к заветному дому и расплатившись с возницей, он опомнился:

«Да ведь она сказала: в девять? Значит, раньше нельзя. А теперь который? Без сорока! Ах, время-то как длится. Терпенья, мой друг, терпенья!»

Мерно принялся он бродить около дома. Стоявший на углу хожалый заметил его и подозрительно следил за ним глазами. Вот только 25 минут до срока, 18, 13 с половиной...

«А, может быть, часы мои отстают?»

Как вихорь, взлетел он по лестнице. Навстречу ему вышла сама бабка.

— Поздравляю, г-н Ластов! Какой у вас славный сыночек!

— Как? Так уже?.. А жена что?

— В отличном здоровье — и она, и мальчик. Вам нельзя еще видеть ее, но вы можете заходить справляться. Вечером, быть может, я пущу вас и к ней.

С сияющими глазами, с жаром пожимал Ластов руку любезной вестницы.

— Вы, сударыня, превосходнейшая женщина!

— А у вас, сударь, превосходнейшие мускулы, — улыбнулась она в ответ. — Совсем изменили мою бедную руку.

— Виноват! Я с радости.

— Верю, верю. Но пора мне к больной.

В каком-то дивном чаду спустился Ластов на улицу. Он не замечал под собою земли, ноги его выделявали невиданные пируэты, руки болтались по воздуху, не зная, куда деться от удовольствия.

«Она здорова и сынок здоров!» — повторял он про себя. Все блаженство земное заключалось для него в этих словах.

Вечером того же дня бабушка ввела его в спальню, затемненную зелеными шторами. С широкой постели, из-под штофного балдахина, глядела к нему его жёночка, его Машень-

ка; она была очень бледна и похудела, казалось, за эти несколько часов, в течение которых он ее не видел; но молодое личико ее дышало ангельскою кротостью и безмятежностью, на устах ее светилась улыбка полного счастья.

— Здравствуй, милый мой, — промолвила она слабым, но чистым голосом, протягивая к нему свою бледную ручку.

Он был уже у нее, на коленях перед нею, осыпал уже ее руку, губы ее пламенными поцелуями. Приподнявшись с подушки, любовно обняла она его голову.

— Тише, детушки, тише! — раздался возле предостерегающий голос бабки, свидетельницы этой встречи. — Я буду, кажется, принуждена, г-н Ластов, вовсе запретить вам входить к моей больной: совсем растормошили ее.

Послушно встал Ластов и поместился на уголок кровати у ног жены.

— Какой ты нехороший! — нежно упрекнула она его. — Только и думает что о жёночке, а сына и взглядом подарить не хочет.

— И то! Где он, где?

— Подойди с той стороны.

Ластов обошел кровать; бок о бок с последней стояла детская кроватка, прикрытая кисейным пологом. Отдернув кисею, он увидел перед собою крошечного, розового спящего младенца.

— Какой карапузик!

— Погоди, подрастет. Вглядишься только, Лева, как похож на тебя.

Ластов рассмеялся.

— Ну, покуда сходства мало. Но юноша хоть куда. Осторожно поцеловал он сына; потом, взяв руку жены, с благоговением поднес ее к губам.

Свидание супругов продолжалось не более получаса: жестокосердая бабушка потребовала удаления Ластова.

— Но когда я могу ее взять к себе? — спросил он.

— Не ранее, как по прошествии девяти дней. Во всяком случае, теперь уже нет опасности.

XXIV

*Бедная! Как она мало жила!
Как она много любила!*
Н. Некрасов

С этого дня учитель наш посещал жену свою в заточении, по крайней мере, дважды в сутки: раз поутру, другой ввечеру. Но, воротившись на седьмой день с уроков домой, он застал ее уже там. По-прежнему устроилась она в первой комнате на кровати; возле нее, на перине, возлежал крошка-сыночек.

— Машенька! — ахнул он. — Как же ты так рано?

— А ты не рад?

— Рад, милая, но боюсь, чтобы ты не поплатилась за свою смелость. Ведь ты приехала, конечно, в карете?

— Нет, мой друг, на извозчике. У тебя нынче и без того гибель издержек.

— Машенька, ребенок мой! Как раз захвораешь. Опасения Ластова вскоре оказались, к несчастью, слишком основательны: с вечера у Маши обнаружили холод и жар, к утру

лихорадка была в полном разгаре. Призванный акушер объявил, что у нее febris puerperalis, и что в этом состоянии она не может кормить сама. Ластов отыскал кормилицу. Болезнь Мари шла исполинскими шагами: несколько дней спустя врач отозвал молодого мужа в сторону и с соболезнованием уведомил его, что у родильницы может открыться тиф, чтобы он, Ластов, был на все готовым. Печаль, отчаянье учителя не знали пределов; но он сдерживал себя, чтобы не показать больной опасности ее положения. Ни на минуту не отходил он от ее постели, прочитывал ей вслух, чтобы ее рассеять, из новых журналов, каждые пять минут переворачивал ее с боку на бок, ночью едва смыкал глаза, подогревал, подавал ей лекарства, которые она не принимала иначе, как из его рук. В дальнейших стадиях болезни нрав ее, кроткий, деликатный, сделался беспокоен, раздражителен. Без видимой причины напускалась она даже на милого, если он недостаточно проворно исполнял какое-нибудь требование ее. Вслед затем являлось, конечно, раскаяние.

— Не сердись, Левушка, — говорила она, —

я больна, я несправедлива, имей терпенье со мною. Но ты представить себе не можешь, как тяжело мне.

Бедная страдальица сгорала как свечка; можно было почти предвидеть, когда она в последний раз вспыхнет и потухнет. Глаза и щеки ее впали, руки иссохли, как щепки, голос ослабел до невнятного шепота; без чужой помощи не могла она уже приподняться с изголовья; нервная кожа ее страдала от малейшего прикосновенья, почему, при поворачивании больной, дотрагиваться до нее можно было только с величайшей осторожностью.

Вскоре состояние ее было безнадежно.

— Мужайтесь, — сказал учителю доктор, — более недели ей не прожить.

Сама Мари предчувствовала свой конец.

— Умереть, неужели уже умереть?! — лепетала она про себя. — Да не хочу же я, не хочу! Теперь, когда стала, наконец, совсем счастливой, бросить все, все! Это несправедливо, это бесчеловечно! Пожить я хочу... Господи, что ж это такое!

В ее воспаленных, все еще прекрасных, выразительных глазах вспыхивал бессильный

гнев, слабо металась она на постели.

— На кого я тебя-то оставлю? — жаловалась она потом. — Кто будет заботиться о тебе? Ты полюбишь другую, полюбишь Наденьку, она будет ласкаться к тебе... Ах, нет, не нужно, не нужно!

Слезы, но скудные, безотрадные слезы текли по ее впалым, разгоряченным щекам.

— А мальчик наш? Сиротинка, что с ним-то станется? Мальчик, сыночек мой, где он?

Ей приносили сына. Ослабшими, сухими губами целовала она его.

— Господи, да будет воля твоя! Лева... есть на свете еще женщина, оценившая тебя, — Наденька. Не перебивай меня; она жива, я это знаю. Бог же с тобой, полюби уж ее, пусть печется о тебе, о нашем мальчике... Назови его также Львом; не забудь, мой милый...

— Да ты оправисься, ты еще долгие годы проживешь с нами, — говорил, чуть не плача, Ластов.

— Напрасно утешаешь, сам ведь не веришь. Слышу я ее, злодейку-смерть, в груди здесь сидит она у меня, сосет меня... Кто бы поверил, что так тошно помирать! Ужели так

и покончить?

Не было у нее уже сил рыдать: выходили одни хриплые, раздирающие душу стенания, только руки ее судорожно поднимались с лоджа, чтобы тотчас же упасть в бессилии, только ноги вздрагивали, да воспаленные, треснувшие губы сжимались и размыкались.

Однажды ночью, не будучи в состоянии преодолеть усталость, Ластов бессознательно задремал на стуле. Когда он вдруг встрепенулся и на цыпочках приблизился к жене, то не слышал уже ее дыхания. Несмотря на постоянное ожидание этой минуты, сердце у него безысходно зануло. Не смея еще положительно увериться в случившемся, он отошел к окну и прислонился головой к холодному стеклу. Собранный с духом, он взял ночник и, стиснув зубы, подошел к одру жены. Полный свет лампадки упал на безжизненные черты молодой страдальницы; глаза, подернутые уже пеленою смерти, были полуоткрыты. Ластов взял ее руку. Рука была холодна и тяжела, как свинец. Превозмогая себя, закрыл он умершей глаза, сложил ей на груди руки, поправил одеяло. Затем, задув огонь, присел

на пол у изголовья покойницы и спрятал лицо в руки. Счастливы люди, которым даны слезы! Со слезами утекает и их горе. Более глубокие натуры не умеют плакать: скорбь грызет, гложет их внутри, слезы подступают к горлу, душат, как плотно стянутая петля, но не вырываются наружу. И много времени требуется на то, чтобы затаенная кручина испарилась капля по капле.

Когда поутру в кабинет осторожно заглянула Анна Никитишна, Ластов сидел в прежнем положении, там же на полу; возле него стоял загашенный ночник. Отняв от лица руки, жилец медленно повернул к ней голову. Она ахнула и тихо прошептала:

— На вас лица нет! Что с вами?

— Можете говорить громко, — отвечал он, приподнимаясь, и с невыразимо грустной усмешкой указал на труп жены: — Карета готова.

— Неужто? Все кончено?

— Можете удостовериться.

Не станем описывать ни приготовлений к похоронам, ни самого печального обряда. Скажем только, что хлопоты по погребению

Ластов, занявший в гимназии в счет жалования до двухсот рублей, взял все на себя и исполнил все с безупречным тщанием и точностью. Некоторые лишь частности, как-то: одевание умершей, украшение гроба живыми цветами, предоставил он Анне Никитишне и приглашенным им дочерям кондитера-энгадинца; этих последних, кстати, попросил он и известить кого следовало на родине о кончине швейцарки.

Но как только бедной Маше был отдан последний долг, учитель впал в полную апатию. Ни жалобой, ни вздохом не выражал он своего горя: с невозмутимым равнодушием глядел он на все совершавшееся около него; потолок мог бы обрушиться на него — и тут бы он, кажется, не сделал шагу для своего спасенья. От частных уроков он отказался: не для кого было трудиться. В гимназию ходил, но более для уплаты занятых на погребение денег. Даже к малютке-сыну он оставался почти безразличен: принесут — хорошо, приласкает; не принесут — не спросит. На встречавшихся ему на улице женщин, особенно на молодых, дышавших красотой и свежестью, он просто глядеть

не мог, отворачивался с отвращением. В бы-
лое время любил он напевать что-нибудь, на-
свистывать; теперь целый день угрюмо без-
молвствовал; изредка лишь замурлычит глу-
хим голосом последний куплет любимого ро-
манса покойной — «Вьется ласточка»:

*У меня была
Также ласточка,
Белогрудая
Душа-пташечка;
Да свила судьба
Ей уж гнездышко
Во сырой земле
Вековечное!*

В свободное от занятий время, несмотря
ни на какую непогоду, он ездил на кладбище
и возвращался только к ночи. Анна Ники-
тишна ходила как не своя:

«Ну, вот, одну свезли на Волково, а тут того
гляди, что и он, касатик, отправится! Не к доб-
ру на могилу к ней ездит он, ох, не к добру!
Долго ли простудиться, занемочь... Эко, пра-
во, наказанье господне!»

Оправдались тревоги старухи: вернувшись
раз поздно с кладбища, Ластов жаловался на

сильную головную боль, на холод и выпил липового цветку; к утру он лежал уже в бреду. Когда же растерявшаяся хозяйка сбегала за ближайшим доктором, тот объявил ей, что жилец ее в горячке.

*Последние слезы
 О горе былом,
 И первые грезы
 О счастье ином...*
 А. Майков

Фантастические исчадия причудливого горячечного бреда имеют много общего с творениями известного рода драматургов: и там и здесь все три единства, и даже более, соблюдены в точности. Давно прошедшее сочетается без малейшего стеснения с настоящим и с ожидаемым будущим. Лица, никогда в глаза не видавшие друг друга, встречаются как давнишние знакомые, да в местности, сшитой на живую нитку из лоскутков Бог весть скольких стран и мест, отстоящих одно от другого на тысячи верст. Рьяный крылатый конь воображения переносится через любые барьеры и рвы анахронизмов и парадоксов. Однако в эффекте, достигаемом талантливыми нелепицами Сулье, Сарду и компании, с одной стороны, и отродьями гениальной богини болезненного бреда — с другой, пальма

первенства бесспорно принадлежит горячке.

И перед омраченным умом Ластова развертывалась нескончаемая панорама разнообразнейших картин и положений, где швейцарская и итальянская флоры пересаживались на болотистую почву Петербурга, где личности, отошедшие уже в царство теней, восставали из гроба в прежнем своем виде, нимало сами не удивляясь такой несообразности.

В начале болезни Ластова первое место между являвшимися ему выходцами с того света занимала, понятным образом, покойная Мари. Мало-помалу, однако, образ ее начал стусевываться, заменяться другим. Вглядится ли больной попристальнее в нее — черно-бархатные, большие глаза ее незаметно примут голубой оттенок, углубятся в орбиты, решительно посинеют; лукаво вздернутый носик выпрямится в серьезный греческий; черты розовые, округлые, сентиментальные побледнеют, обрисуются резче, облагородятся сосредоточенною думою...

— Наденька... — пролепечет он.

Но в то же мгновение видение исчезнет;

по-прежнему белеет в вышине потолок спальни, на фоне которого немедленно возобновляются замысловатые игры уродливых созданий расстроенного мозга.

Шли дни, шли недели, протекло два месяца. Прилетела вновь из-за моря молодая волшебница-весна, подула своим теплым дыханием — и рассеялись на небе свинцовые тучи, высохла мостовая, взвились резвые вихри пыли; заглянула в городские сады и скверы, прикоснулась цветущими пальцами к помертвелым древесным ветвям — и распустились деревья, зазеленели. Глянула она своим всеоживляющим оком и в келью нашего страдальца — как рукой сняло его недуг, как от здорового, долгого сна пробудился он в светлый майский полдень с совершенно свежей головою. Золотыми потоками врывался божий день в растворенное окно и наполнял все пространство небольшой спальни мерцающим блеском. Ластов огляделся: все вокруг было так чисто, так опрятно, на всем лежал отпечаток рачительной женской руки. Сам он, Ластов, был тщательно укутан в два одеяла — вероятно, из опасения, чтобы свежесть

вливавшегося в окошко весеннего воздуха не повредила ему. Но ему стало жарко; сбросив верхнее одеяло на пол, нижнее он распахнул на груди и хотел приподняться. В глазах у него забегали огоньки, в изнеможении упал он назад на подушки и закрыл веки. С самой той минуты, когда он пробудился к действительности, он ни одной мыслью не возвращался еще к прошедшему; оно как будто улетучилось вместе с горячкой. Перед сомкнутыми глазами его пролетали какие-то светлые, неясные идейки, как в волшебном сне он мирно улыбался.

Тут тихонько отворилась дверь. Чьи-то осторожные шаги, с легким шелестом женского платья, приблизились к больному. Не шелохнувшись, продолжал он лежать в приятном забытьи. Кто-то поднял с полу сброшенное одеяло и накрыл им спящего. Чье-то теплое дыхание пахнуло ему в лицо, чьи-то свежие губы прикоснулись к его губам...

«Опять как во сне, — мелькнуло в голове у него. — Ужели в самом деле Наденька?»

Он раскрыл глаза.

— Ах! — отскочила с испугом склонившаяся

ся над ним молодая стройная послушница и уже спасалась в соседнюю комнату. На пороге она одумалась и тихими шагами возвратилась к Ластову.

— Вы узнали меня, Лев Ильич? Вам, значит, лучше? — взволнованно спросила она.

— Никогда я не чувствовал себя лучше, — весело отвечал он. — Только слаб еще: попробовал было приподняться, да голова закружилась, как у пьяного.

— Еще бы. Вам и нельзя еще вставать. Позвольте-ка пульс.

С улыбкой достал он из-под покрывала руку. Наденька указательным и большим пальцами взяла ее за сочленение кисти и, сдвинув брови, стала считать про себя удары. Складки на лбу ее сгладились.

— Ну, опасность миновала, лихорадки нет и следа. Теперь... — сказала она, и голос ее принял грустный оттенок, — теперь я могу оставить вас, оставить сыночка вашего, маленького Левеньку, к которому привязалась, как к родному сыну...

В глазах у Ластова потемнело; он схватился рукою за сердце. Его, как ударом молнии,

мгновенно поразило воспоминание о минувшей счастливой жизни с бедной Машей, которой уже нет в живых, которая по себе оставила ему только сына. Он с трудом перевел дыхание.

— Надежда Николаевна, — промолвил он, — что сын мой, здоров?

— Ах, Боже мой, — спохватилась Наденька, — ведь вы его со времени вашей болезни и не видали. Как же, здоровехонек. Какой он, я вам скажу, милашка! Просто, херувимчик. Ну, да я вам сейчас покажу его.

Она поспешила выйти и вслед затем ворочилась с трехмесячным младенцем на руках. Следовавшая за ней кормилица остановилась в дверях.

— Смотрите же, Лев Ильич, ну, не душка ли он? Поклонись, Левенька, папаше, поклонись, — продолжала послушница, качая малютку в направлении к больному. — Он и смеяться уже умеет, право. Засмейся-ка, мальчик мой, засмейся папаше? Нет, не хочет, характер свой, значит, тоже есть; зато, случится, засмеется, просто сердце покатится от радости: ведь малюсенький, глупенький, а тоже

знает тебя; тут вот и ценишь его ласковость. Ах, ты глупышка, прелесть моя, засмеялся! Лев Ильич, голубчик, смотрите: засмеялся!

С восхищением почти материнской любви стала она лбызать маленькому Левеньке и ножки, и ручки, и ротик.

— Слюняй ты, слюняй, — говорила она, нацеловавшись и вытирая себе рукавом губы.

— Да и слюнки-то хорошенькие! — восклицала она затем, с возобновленной нежностью принимаясь осыпать его поцелуями.

— Позвольте-ка его сюда, — промолвил растроганным голосом Ластов и, усадив младенца к себе на грудь, с грустной радостью загляделся в его пухленькое личико. Большие, черные глазки, мило вздернутый носик так и казались изваяны по образу покойной матери. А тут, нимало не дичась отца, малютка улыбнулся ему, и на полных щечках его показались те же наивно-прелестные ямочки, что у Маши... Ластов с упоением повлек его к себе и прижал к груди, так что ребенок, задыхаясь, даже запищал в непривычных тисках.

— На, возьми, возьми его, — передал его Ластов кормилице. — Унеси скорее.

И он провел рукою по глазам, в которых
навернулась какая-то небывалая влага.

XXVI

— *Итак, и я твоей души
Не осужу, — сказал Спаситель.
— Иди в свой дом и не греши.*
А. Полежаев

— Не взыщите, Надежда Николаевна, — проговорил, вздохнув, Ластов, — минутная слабость неокрепшего от болезни организма. Вам не понять, чего я лишился в покойнице.

— Вы очень любили ее?

— И не говорите! Солдат, которому отняли руки и ноги, должен ощущать почти то же: у меня вынуто, вырезано из груди сердце. Остался один небольшой лоскуток, чтобы я чувствовал всю безвозвратность своей потери.

— Но... извините, Лев Ильич, за неделекатное замечание: чем могла она так привязать вас к себе? Громадным умом да и особенными познаниями она, кажется, не могла похвастаться. Собой только была довольно миловидна, да мало ли на свете хорошеньких жен-

щин?

— Ах, Надежда Николаевна! Все это так, и если провести параллель между нею и хоть бы вами, вы всем почти окажетесь сильнее ее: и умом, и образованием, и телесною красотою. В доброте сердца вы также едва ли уступите ей. Зная мое желание иметь женою русскую, она со свойственным германскому племени прилежанием принялась за изучение нашего языка; вам и перерабатывать себя нечего: вы по рождению русская. Она была шиллеровский лиризм, вы — гейневский. Повидимому, все преимущества на вашей стороне. К тому же, как вам известно, во время приезда Мари я был уже заинтересован вами; и между тем она все-таки вытеснила вас из моего сердца! Чем же она преуспела перед вами? Одним лишь — своей безгранично любящей, истинно женской, женственной натурой. Этого великого качества достаточно в женщине, чтобы на жизнь и смерть привязать к ней мужчину.

Наденька слушала учителя с опущенными взорами. На бледных щеках ее выступила легкая краска.

— Бросимте эту тему, — сказала она. — Семейная жизнь для меня теперь миф.

— Как так?

— Да по костюму моему вы уже видите, что я отреклась от семейной жизни, что весь век свой хочу посвятить уходу за больными.

— Ну да, до замужества.

— Лев Ильич! Вы жестоки. От вас я не ожидала такой иронии.

— Что вы, Надежда Николаевна! Я и не думал иронизировать. Что обидного нашли вы в моих словах?

— Да как же: говорите о замужестве.

— А почему же и не говорить? Помню я, конечно, что вы когда-то называли брак глупостью, но тогда вы были еще ребенком, и я полагал, что, возмужав, вы изменили свое мнение.

— И изменила, но...

Наденька вскинула на учителя недоверчивый, огненный взор.

— Вы не лицемерите, Лев Ильич? Вы действительно ничего не знаете?

— А что же знать-то? Про вас что-нибудь?

— Про меня... За что отец прогнал меня из

дому, что побудило меня топиться вместе с Бредневой?

— Как? Так вы с целью утопиться предприняли то катание по Неве?

— Да... Ничего не слышали, ничего предосудительного?

— Ни словечка.

Девушка глубоко перевела дух, как бы облегченная от тяжелой ноши.

— Так и не знайте! Не слушайте, что бы такое ни говорили про меня, затыните уши, отворотитесь. В ваших глазах, по крайней мере, хочу я остаться прежней, незапятнанной. Мы в жизни уже не увидимся. *Der Mohr hat seine Arbeit gethan, der Mohr kann gehn* [67]. Вы вне опасности и не нуждаетесь уже во мне. Прощайте... навеки...

Она поднесла руку к глазам и торопливо пошла к выходу.

— Надежда Николаевна! — мог только вскрикнуть удивленный Ластов.

Послушница переступила уже порог кабинета и притворила за собою дверь.

— Наденька!

— Чего вам? — откликнулась она из-за две-

ри. — Прислать Анну Никитишну? Сейчас.

— Не то, Надежда Николаевна, воротитесь. Можно ли, скажите, уходить от пациента, не пожав ему на прощанье даже руки?

Дверь медленно отворилась. С мимолетным румянцем на щеках, с опущенными ресницами подошла к нему Наденька и нехотя протянула руку.

— На-те же, пожимайте.

Он взял поданную руку и не выпускал уже из своей, чтобы не дать беглянке вновь улизнуть. С живым интересом оглядел он теперь ее фигуру. Белоснежная косынка скромно прикрывала ее обильные, натурально вьющиеся кудри, изящными прядями обрамлявшие ее смущенное, слегка похуделое, но по-прежнему художественное личико. Подобная же косынка ластилась около гибкой, полной шеи. Стан девушки, заключенный в самое простенькое, серое платье, смиренно подогнулся в стройной талье. Рука ее в руке Ластова трепетала и горела.

— Надежда Николаевна, — заговорил учитель тихим, почти торжественным голосом, — не считите меня нескромным, если я

стану допытывать вас; оно необходимо. Вы как-то упомянули, что родители ваши отказались от вас?

— Да... Я вначале погорячилась, они все-таки любят меня, они простили бы меня.

— Простили бы вас? Следовательно, вы виноваты? Следовательно, то предосудительное, что говорят про вас и чего я не должен знать, не гнусная ложь, а правда?

Послушница безмолвствовала; но лицо ее пуще разгорелось, грудь заколыхалась сильнее, веки усиленно заморгали.

— Так правда? — повторил Ластов.

Она чуть заметно кивнула головой. Но тут ее оставили силы: скорее упав, чем присев, на стул у ног больного, она закрылась руками и горько разрыдалась. Темная туча надвинулась на лицо Ластова; раздраженный, со сложенными накрест руками, не спускал он угрюмого взора с плачущей. Гроза, вызванная в душе несчастной девушки, разрешилась благотворным мелким дождем.

— Вы расточали уже кому-нибудь любовь свою? — почти с озлоблением процедил он сквозь зубы.

Слезы потекли опять обильнее.

— Может быть, даже Чекмареву? Бедную начали душить всхлипы.

Ластов побледнел, как мертвец, и судорожно сжал кулаки.

— Подлец! — прошептал он.

Вид беспредельного отчаянья юной грешницы смягчил, однако, мало-помалу черты его.

— Не убивайтесь, Надежда Николаевна, — проговорил он примирительным тоном, — выпейте воды.

Покачнувшись, поднялась она с места, налила себе неверною рукою из графина, стоявшего на столике у кровати, воды и залпом опорожнила стакан. Потом удалилась к окну и присела на подоконник, лицом к улице. Окошко было открыто, и свежий наружный воздух, звуки деятельной городской жизни, доносившиеся снизу, рассеяли, успокоили ее. В приятном расслаблении прислонилась она к оконной раме, закрыла глаза и глубоко вздохнула.

— Надежда Николаевна, — начал опять Ластов, внимательно следивший за всеми ее

движениями, — с Чекмаревым вы порвали все связи?

Она, очнувшись, вздрогнула и, не оборачиваясь, сделала утвердительный знак головою.

— Так слушайте, что я вам скажу. Вы думаете, что один опрометчивый шаг ваш безвозвратно преградил вам путь к семейной жизни. Но чем, скажите, я лучше вас? До формальной женитьбы на Маше я сам жил с нею в натуральном браке. В меня же никто не бросит за то камнем: всякий имеет право располагать своей личностью по усмотрению.

— Да, — отвечала глухим голосом послушница, — вы, мужчины, но не мы. У вас на первом плане стоит жизнь общественная, на втором уже семейная. Если вы и обманете любимую женщину — проступок ваш может быть еще искуплен тою пользою, которую вы приносите как лицо общественное. Женщина же, основу жизни которой составляет именно семья, пойдет против своей природы, если станет ветрено расточать лучшую, священнейшую часть души своей — любовь.

— Совершенно справедливо; но были ли вы в то время уже женщиной? Вам сколько

теперь лет? Ведь не более восемнадцати?

— Да, нынче минет.

— Ну, вот, тогда вам было, значит, едва семнадцать. Решительный новичок в школе жизни, вы с взбалмошной горячностью первой молодости приняли учение наших лже-реалистов, вздумавших социализм прилагать и к семейному быту. Чекмарев воспользовался вашей неопытностью. Теперь вы отрезвились от своего заблуждения, вы от души раскаиваетесь; вы еще молоды, полны энергии, вся жизнь еще перед вами; нечего, значит, отчаиваться; кто старое вспомянет, тому глаз вон...

— Нет, Лев Ильич, перестаньте об этом, утешения ваши ни к чему не поведут. Я очень хорошо понимаю, что для меня нет будущности.

— Отвечайте мне на некоторые вопросы, — сказал Ластов. — Отчего вы, скажите, теперь без очков?

Никак не ожидая подобного вопроса, девушка обернулась к нему с тоскливой улыбкой.

— Оттого, что сняла их.

— Нет, не отшучивайтесь, я спрашиваю серьезно. Поправилось у вас зрение, что ли?

— Нет, не могу сказать. Вы мне отсоветовали, ну... а я принимаю резонные советы.

— И волос, кажись, не стрижете?

— Как видите. «Волосы — краса женщин», — говорили вы. Я поверила. Вы, я думаю, ужасно рады, что нашли такую послушную прозелитку?

— Рад. А курение бросили?

— Да вы никак в самом деле учиняете допрос?

— Я же предупредил вас. Так что же: вы уже не курите и пива не пьете?

— Не курю и пива не пью. У нас, милосердных, оно к тому же не принято.

— А то бы не отказались от того и другого?

— Какой вы неотвязный! Ну, радуйтесь: и в отношении курения и пива я последовала вашему совету.

— А сына моего вы любите?

— Левеньку? Как жизнь свою!

— Надежда Николаевна! Вы, значит, еще не разлюбили меня?

— Лев Ильич!

— Не обижайтесь, выслушайте меня. Когда скончалась Маша, смерть ее до такой степени потрясла меня, что весь женский пол опостылел, опротивел мне. Вы же, являясь мне мгновениями в бреду, приучили меня к себе так сказать гомеопатическими дозами. Вы — первая, на которую я могу глядеть опять без омерзения. Воспоминание о Маше во мне еще слишком живо, чтобы я мог полюбить другую; сердечные струны мои порваны; я сам в эту минуту не считаю еще возможным когда-либо забыть ее, полюбить так же искренне другую. Но поневоле вспоминается стих Шиллера:

*Спящий во гробе, мирно спи!
Жизнью пользуйся живущий!*

Против природы ведь не пойдешь. Не один раз влюблялся я уже до Мари и всякий раз был уверен, что никогда не забуду, — а забывал. Я еще молод, я выздоровлю, и может быть... может быть, неблагоприятное сердце забьется еще раз сильнее! Досадно даже делается за слабость человеческой природы. Если же кто заставит его забиться — так это вы.

Наденька слушала Ластова с затаенным дыханием. Луч теплой надежды преобразил ее расстроенное тяжелою кручиною лицо... но лишь мгновенно; она печально потупилась.

— Нет, Лев Ильич, вы сами себя обманываете, вам только жаль меня: жалость свою вы приняли за чувство более нежное.

— Может быть! Не спорю все покажет время. Оба мы с вами инвалиды. Дайте зажить сердечным ранам; молодость, быть может, возьмет свое. А покуда удалитесь в свое уединение, исполняйте свой священный долг. Родителей ваших мы всегда умилюстивим.

Слезы, но тихие, благотворные, накопились за ресницами девушки. Она смело подняла голову и с решимостью встала.

— Прощайте же, Лев Ильич. Благодарю вас.

— Не падайте духом, надейтесь.

И дверь в последний раз закрылась за нашей героиней — а с нею и последняя страница нашей повести.

Примечания

1

Это звучит так сладостно, это звучит так печально! (нем.)

[^^^]

2

Молодой человек любил девушку. (нем.)

[^^^]

Кто там (лат.)

[^^^]

Время-деньги (англ.)

[^^^]

Молчание (лат.).

[^^^]

Терпение (лат.)

[^^^]

По желанию (лат.)

[^^^]

Бутерброд? (ит.)

[^^^]

9

Теперь — пируем! Вольной ногой теперь
Ударим оземь! (лат.)

[^^^]

Круг жизни (нем.)

[^^^]

Мир хочет быть обманутым — поэтому он может быть обманут (лат.)

[^^^]

И ты тоже, Брут? (лат.)

[^^^]

Капля точит камень не силой, но частым падением,

Человек приобретает знания не силой, а постоянной учебой (лат.)

[^^^]

в надежде (лат.)

[^^^]

Господин, Время (Часы; лат.)

[^^^]

Эй, Мари сюда на минутку, пожалуйста (нем.)

[^^^]

Когда упоминают волка, тотчас увидят его хвост (лат.)

[^^^]

Ей-Богу (фр.)

[^^^]

один, два, три (фр.)

[^^^]

Это превосходно (фр.)

[^^^]

маленькие игры ума (фр.)

[^^^]

Ну, ей-Богу, мой дорогой, что ты под столом
делаешь

[^^^]

Где вы были, Мари (нем.)

[^^^]

Что я вижу? Брависсимо, еще раз! (ит.)

[^^^]

Как дела? Приходите! (нем.)

[^^^]

Корм студентов (нем.)

[^^^]

Аппетит приходит во время еды. (фр.)

[^^^]

Любовь приходит во время любви (фр.)

[^^^]

Ах, хорошо, хорошо (фр.)

[^^^]

Откуда вы, дорогая? (нем.)

[^^^]

Это очевидно (фр.)

[^^^]

Любовница (фр.)

[^^^]

Общая лань (фр.)

[^^^]

Действительно (фр.)

[^^^]

Итак, фройлян, для меня это чудовищно, отвратительно, извините... и так далее и так далее (нем.)

[^^^]

Горе мне (фр.)

[^^^]

Хуже! (фр.)

[^^^]

это необходимое зло (фр.)

[^^^]

Бесчеловечная мать (фр.)

[^^^]

дурак (фр.)

[^^^]

Оставь надежду всяк сюда входящий (ит.)

[^^^]

смешная малютка (фр.)

[^^^]

С большим скандалом (нем.)

[^^^]

На закуску (фр.)

[^^^]

Отцом семейства (лат.)

[^^^]

Прощайте (англ.)

[^^^]

До свидания, г-н Паладин

[^^^]

Кто там? (лат.)

[^^^]

Боже, храни тебя, мой друг (лат.)

[^^^]

что с вами (фр.)

[^^^]

нездоровы? (фр.)

[^^^]

сына (лат.)

[^^^]

— Любовь, что это такое, мамзель,
Любовь, что это такое? (фр.)

[^^^]

— Любовь, вот она какая, мосье,
Любовь, вот она какая! (фр.)

[^^^]

Наши интимные (фр.)

[^^^]

Что это означает, что мадам (фр.)

[^^^]

Но я полностью изменила свое мнение (фр.)

[^^^]

Прекратите комплементы (фр.)

[^^^]

более чем смешно (фр.)

[^^^]

любовное письмо (фр.)

[^^^]

Вы жестоки (фр.)

[^^^]

62

зачем вы пришли, мадам

[^^^]

Судите сами (фр.)

[^^^]

мертвые, не могут быть оспорены (лат.)

[^^^]

Волей-неволей (лат.)

[^^^]

Это ужасно, подло, дерзко, отвратительно!

[^^^]

Мавр сделал свое дело, мавр может идти
(нем.)

[^^^]